

Аркадий МАРГУЛИС Виталий КАПЛАН

ОБРАЩЕНИЕ АПОСТОЛА МУРАВЬЁВА



16+

@ЭЛИТА



Аркадий Маргулис
Виталий Каплан
Обращение
Апостола Муравьёва

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10312417
Обращение Апостола Муравьёва: Аэлита; Екатеринбург; 2014

Аннотация

За какое бы дело ни брался Марат Игоревич Муравьёв-Апостол, непременно добивался победных результатов, проявляя недюжинную волю и отменные лидерские качества. Став помощником машиниста пассажирского поезда, уберёг состав и сотни людей от неминуемой катастрофы. Увлёкшись спортом, в короткий срок выиграл первенство страны по боксу. Отправившись на золотые прииски, стал обладателем огромного состояния. Близкое знакомство с криминальными авторитетами помогло ему избежать неминуемых подозрений в преднамеренном убийстве. Обнаружив в себе недюжинные художественные способности, Апостол увлёкся изготовлением фальшивых банкнот, что привело его к уголовной ответственности. В тюрьме его посетил священник и обратил в православную веру.

Осуждённый на многие годы тюрьмы, Апостол стал убеждённым священнослужителем в тюремной церквушке.

Содержание

Глава 1. Тюрьма. Малява	6
Глава 2. Ступени. Ребячьи шалости	24
Глава 3. Тюрьма. Перспектива.	51
Глава 4. Ступени. Юношеские забавы	59
Конец ознакомительного фрагмента.	93

**Виталий Каплан,
Аркадий Маргулис
Обращение
Апостола Муравьёва**

© ЭИ «@элита» 2014

Глава 1. Тюрьма. Малява

Преисполненный важностью возложенной на него миссии молодой шнырь самозабвенно елозил машкой по выдавшему виды заплёванному продолу. Кем был он до высочайшего поручения? Да никем: Никто по имени, Никак по фамилии. Обломали тюремные университеты. Зато теперь всё непременно изменится в лучшую сторону. Станет повеселее, как бывало на воле.

Никто исподлобья зыркнул на дремлющего за столом вертухая. Не бояться... Крупные капли холодного пота, игнорируя брови-дамбы, затекали в глаза. Нещадно грызли нежную плоть. Не бояться... Если верно выполнить поручение, положенец, гляди, одарит погонялом. Не каким-нибудь там Дротом или Чухой, а настоящим, помогающим выбиться в мужики и дожидаться окончания срока живым и невредимым.

До этого дня шнырь никогда не бывал внизу, под первым этажом. С замиранием сердечной мышцы он рассматривал тюремный ШИЗО. Штрафной изолятор пугал и приманивал одновременно. Как лестница в небо. Через каждые двадцать шагов бесконечный проход разделяли стенки-решётки с запертыми на большие навесные замки дверями. Если, забыв где находишься, долго смотреть в перспективу, непременно увидишь перед собой под мертвечным светом мерцающих люминисцентов одно сплошное клетчатое железо.

Закончив драить очередной пролёт, Никто будил вертухая, и тот, прищутив глаза, огромным ключищем отпирал следующую переборку. Ещё один шагок к заветной цели, сытой жизни и босяцкой уважке.

За щекой у Никто парилась мулечка, запаянная в целлофан. По одну сторону за плёнкой номер камеры изолятора – «куда», по другую – «откуда», на случай, если получатель в больничке или вовсе завершил земные скитания. Боязно шнырю: малява с воли, за такую, если поймают, хозяин по головке не погладит. В сотый раз шнырь шептал про себя закливание-оберег, пришедшее из далёкого детства:

«Заклеили клеем прочно
И ко мне прислали срочно
Я его не пожалею
Получу и вмиг расклею».

Стишок возродился в голове, когда сам отрядник вызвал шалывогод себе. Долго распекал за неуместное жужжание, а затем неожиданно всунул в ослабевшую от страха вспотевшую клешню маляву:

– Апостолу, – строго приказал, – доставь и забудь.

Никто отказать отряднику не посмел и, успев поднатореть в арестантских делах, с низкого старта рванул к положенцу, доложил, покаялся, спросил, как быть.

Отрядник, в сущности, кто? Хер с бугра. А Хан положенец, достоинством поважнее, ему авторитетные воры пору-

чили за зоной смотреть. Хан, сидя в позе излюбленной, на корточках, едко прищурился:

– Делай, как велено.

И теперь крошечный клочок бумаги, запаянный в целлофан, щиплет щёку, ни выплюнуть, ни проглотить.

От грустных мыслей шныря отвлекла покрытая облупленной давно выцветшей краской камерная дверь. На ней едва различимый трафарет – «Двадцать два». Надо действовать. Никто склонился над ведром, яростно отжимая в него машку. Зыркнул исподлобья на спокойно дремавшего вертухая. Улучив момент, выстрелил тускло сверкнувший в тюремной подсветке конвертик в камеру, в узкую щель под дверью, лишь промелькнуло по-женски безволосое запястье со служивой мастью: примитивный кораблик с парусом, три кривые буквицы ВМФ и цифры 86–89, означавшие годы службы.

– Апостол, – едва слышно позвал шнырь вслед маляве.

– Метлу прикуси, – моментально послышался ответ, словно адресант заранее знал, что сделает шнырь.

Тот недолго думая, принялся драить дальше, млея от оторопи. Через несколько шагов он уткнулся в решётчатую стену. Негромко кашлянул. Вертухай очнулся, беззлобно выругался, но встал. Работа есть работа. Ключи, как ни крути, у него, зеку их не доверить.

Апостол, слегка озадаченный, рассматривал маляву. С воли – факт. Машинально понюхал, а ну как от Галимы или ка-

кой-нибудь случайной шалавы. Пахло скверно. Ну, пока по-
годит. Сделал глубокий вдох, задержал дыхание. Медленно
досчитав до трёхсот, выдохнул. Поочерёдно расслабил мыш-
цы рук, груди, пресса, спины. Затем резко, без передышки,
отработал сотню приседаний. Прислушался к ощущениям.
Порядок. Повторил: ноги приятно загудели. «Пистолетик» –
по четвертаку на ногу.

Восстановив дыхание, зарядил поочерёдно: сотню обыч-
ных отжиманий с широкой постановкой рук, с узкой, хлоп-
ками перед грудью и за спиной. Снова успокоил дыхание. Ис-
полнил десяток замедленных отжиманий. Покончив с прес-
сом, взялся за скакалку, настоящую, фабричную. Кум за та-
кую погонит половину персонала. Апостол улыбнулся соб-
ственным мыслям. И пусть увольняет – здесь, на зоне, каж-
дый сам за себя выбирает, как жить. Голодным, но по уставу,
либо сытым, и тогда уж по босяцким законам.

«Залетел» Марат в первый раз, но получал от чалки
несравненное удовольствие. Тюремное бытие с его жёсткис-
ми, как взгляд прокурора, правилами, заново зажгло интерес
к жизни.

Мышцы практически пришли в норму, и Апостол, поймав
краем глаза движение тени, резко выбросил кулак в сторону.
Тень ретировалась с линии атаки, но, будучи обнаруженной,
уже не имела шансов. Её соперник вжился в роль, представ-
ляя в мелочах бой. Сегодняшний он посвятит стандартной
тройке, постепенно усложняя элементы – правый боковой в

корпус, правый апперкот, левый боковой в корпус. Человек гонял по крохотной камере собственную тень, пока она не запросила пощады, в изнеможении опустившись на нары.

Когда в хате появился новый сиделец, одуревшие от скуки арестанты оживились. Экземплярчик... Потеха на час-другой обеспечена. Такие спесивые здоровяки сразу не ломаются. Сперва ерепенятся. Новый мужик-сарай от прописки отказался напрочь. Посвящение в арестанты всем вышло боком. Не в добрый час подступились. Кто отделался выбитыми зубами, кто сломанной челюстью. Смотрящего камеры, тощего глуповатого и злобного наркошу, Апостол сгрёб за ворот железной лапищей, приподнял над полом и вдавил в стену. Когда тот забыл сучить ножками, разжал пальцы. Посмотрев сверху на копошащееся ничтожество, добивать не стал. Помочился на глазах пришедшей в себя публики и завалился спать... на место свергнутого авторитета. На зоне заговорили, и через два дня пригласили на сходку.

Старый Хан долго молчал, неотрывно глядя на бунтаря, словно отыскивал в нём нечто известное одному ему, отдавшему тюрьме сорок лет жизни. Отыскал:

– Виноват я, человеце, прости. Недоглядел по старости лет, наркомана смотреть за хатой поставил. Беспредел дозволил... – обманчиво мягким, извиняющимся голосом проговорил Хан, и уже иным, жёстким, недвусмысленным, добавил: – Но больше так не поступай. Казнить и миловать я здесь поставлен. Иначе непорядок произойдёт. Обзывать

Апостолом станешь, считай, по фамилии. Кто слово сказать хочет?

Блатные серьёзно, как на партсобрании, покивали синими мордами, соглашаясь. В руки новообращённого кто-то вставил жестяную кружку с дымящимся чифирём. Апостол сделал несколько коротких глотков горького, как его прошлые годы, но ядрёного, как кулак мастера Габриеляна, напиток. Послышался одобрителный гомон. Бродяги оценили. Тогда Хан сказал, что высмотрел у Апостола нужные для аристократа качества, и что он, бывалый вор, берёт его в ученики. Это был первый урок. Апостолу, по совету положенца, следовало пострадать за бродяг в ШИЗО недельки с две, не меньше. И авторитета прибавится, и опыта поднаберётся.

Отдышавшись, Апостол вскрыл целлофан. Снова понюхал. Оценил обратный адрес. Осторожно расправил аккуратно умятый листик:

«Здорово тебе, бродяга Апостол.

От всей души зычу тебе здоровья, благополучия и фарта в делах наших благородных. Знаю не понаслышке: наш ты человек в душе своей, правильной масти. Всегда таким был. Законы уважаешь. В курсе я, что трудно за забором. Но помни, любая канитель между своими должна разбираться по-нашенски. В присутствии положенцев. Слушайся Хана, он опытный и честный вор. В масти. Я его поставил над вами разборы делать по совести, ни в коем случае не кровожадные, ибо нам такое неприемлемо. Ты, Апостол, хороший

бродяга, и я хотел ставить тебя в помощь положенцу, но вот какое дело. Просили меня Вору Российские за одного патлатого. Встретить тот пожелал бродягу дерзкого в душевном метании. Потасовали. Выбор пал на тебя. Послухай мою науку. Не с целым сердцем прошу за патлатого, но знаком с ним лично. Человек он сильный. В свою масть многих бродяг сманил. Всё же порядок не воспрещает за таких впрягаться. Возьми вот некрасовских мужиков. Если такие по недопониманию, либо по козьим убеждениям допускали козлячьи поступки, а именно: были стукачами, сдали кого-то, но ошибку свою поняли – это приятно. И всё же такой мужик, даже раскаявшись, не станет порядочным арестантом. Такого в нашей нищенской жизни не бывает. В нашенской жизни есть понятие: если кто-то впрягается за мерзавца, то он тоже мерзавец. Хорошие люди, в особенности воры, не впрягаются за подонков. Тварь поддерживает такую же тварь. А патлатые, хоть и замарали себя связью с властями, но тварями по понятиям не считаются.

А ещё пресекай, как и делал, всякий беспредел, ибо нож носится для хороших людей и самообороны. За хулиганские действия смело ломай руки, в этом тебе моё благословение.

Лютый, вор в законе».

Апостол выудил из складки одежды спичку, не обнаруженную при досмотре. В изоляторе запрещено курить. Чиркнул о бетонный пол. Подождал, пока малява не обратилась в чешуйку пепла, затем дунул. Чешуйка взлетела, рассыпаясь.

Лютый – опытный вор, положенец по Ростовской области. Любопытно, отчего покинул Иркутск, ну да ладно, его ума дело. Он сам ставил Хана на зону. Тогда отчего письмо пришло напрямую, минуя смотрящего? Вопросы, вопросы. Апостол ещё только учился, но его изворотливому уму не составило труда вычлениить из письма два основных посыла. Первый и главный: за расправу над дохляком-наркоманом с него не спросят. Более того, получен зелёный свет поступать так и впредь. Второй: всесильный Лютый, авторитетный вор в законе, предлагал корешку Апостолу встретиться с каким-то попом, причём об этом хлопотали люди, коим отказать он не мог. Или не захотел. Сколько Марат помнил, Лютый ещё тогда, на приiske, имел слабость к кресту. Но он не требует, а настойчиво просит: встретиться с патлатым, послушай, курни опиума для народа и, если пожелаешь, отошли попа обратно, откуда пришёл.

Что ж, если он всё правильно понял, ждёт его великое будущее. И, может, когда-то, на третьей-пятой отсидке, тот же Лютый, долгих лет ему жизни, отрекомендует на корону. Родная это стезя. Апостол чувствовал её всеми извилинами души. Только здесь он станет Человеком, обретёт душевный покой и радость.

Марат растёр между пальцами волоконце пепла, сжал кулак и сокрушительным не отбиваемым ударом вогнал потерявшую бдительность тень в щербатый бетон стены. Боль физическая лишь на миг заглушила боль душевную, но

мгновения с избытком хватило провалиться в мертвецкий, без сновидений, сон.

Разбудил скрежет. Синий после бессонной ночи и дерьмового алкоголя вертухай пытался попасть ключом в замочную скважину. Апостол ополоснул лицо, сгоняя остатки сна, пригладил волосы и чинно сел на шконку в ожидании результатов возни охранника. Если бы не перебитый нос, сломанные уши, плечи шириной с лимузин и кулаки с тыкву – паймальчик. Наконец, массивная дверь поддалась, отворившись с жёлчным скрипом.

– Принимай гостей, Муравьёв, – просипел Егорыч, вечно простуженный вертухай, судьбою вровень с пожизненным заключением.

Сам в дверном проёме не показался. Постеснялся своей синюшности. Вместо него в камеру вошёл невысокий человек в чёрном заурядного пошива френче, но с открытым лицом, располагающим к доверию. Апостол поморщился. Русые, почти белые, длинные волосы гладко зачёсаны назад. Впечатление портила куцая бородёнка, совсем не уместная на лице гостя.

– Ежели что, постукай, – наказал посетителю Егорыч, и дверь с грохотом захлопнулась.

Гость с интересом рассматривал камеру. Молча и неторопливо. Прочитал граффити на стенах, все подряд. Задержал внимание на мемориальном: «Смерть пидорасам, крысам и тёще ненасытной Марье Ивановне».

– Что вы думаете по этому поводу? – спросил он, кивая Апостолу на автограф.

– Не согласен.

– Нет?

– Нет. Не по понятиям убивать пидоров и крыс. Наказывать надо, а убивать – беспредел.

– А Марья Ивановна?

– Ей смерть.

– За что же? – искренне удивился гость, но, спохватившись, представился, – отец Серафим, в миру Алексей Игоревич Кущенко.

– Хм, а мы тёзки по отчеству. Остаётся надеяться, что у нас не общий папа, – хмуро рассмеявшись собственной шутке, проговорил Апостол.

– Ошибаетесь, разлюбезный. Отец у нас у всех один. Но, честное слово, мне не терпится узнать, в чём так провинилась тёща перед анонимным автором.

– Вовсе он не анонимный, его здесь все знают – правильный мужик. Взял на воле рыжья в одной хате. Много взял, а спрятал в деревне у тёщи, Марьи Ивановны. Старуха зятка с радости самогоном накачала, а когда тот заснул сном праведника, – посетитель слегка поморщился, но перебивать не стал, – в ментовскую позвонила.

– Ну, и в чём подлянка? Бабка-то по своим, фраерским понятиям поступила!

– В том, патлатый, что босяка повязали – и на кичман, а

из рыжья в тайнике только два худых колечка нарисовалось. Месяцев через пару, как беднягу осудили, тёща с тестем развалюху в деревне за копейки сбыли и дунули в Подмосковье. Там наличманом усадьбу купили, вместе с «Волгой» неезженной в гараже... Вот такая история! Скажи, патлаты, отчего ты со мной по фене ботаешь? Неужто сидел?

– Не приходилось, Бог миловал. Бывают, Марат Игоревич, такие арестанты, что нормального языка не понимают. Простите, если обидел ненароком.

– А кто, интересно, назначил тебя судить, что нормально, а что нет? Может, блатной жаргон – единственный честный язык по всему Совку остался. На остальных врут.

– Я не сужу, Господь простит, и в чём-то вы правы. Но есть ещё один язык – молитва, в ней лгать невозможно.

– Со мной говори обычно, обидеть ты меня, хмырёк, не можешь, кишка тонка. Попытаешься – кадык вырву.

Отец Серафим мирно кивнул, затем, не спрашивая позволения, присел на краюшек кровати. Задумчиво подёргал бороду:

– Марат Игоревич...

– Апостол!

– Рановато! Если не возражаете, да вы и сами просили обычным языком, я предпочту по отчеству.

Почему «рановато», Апостол уточнять не стал. Батюшка, несмотря ни на что, ему чем-то нравился. Искренностью, что ли? Не было в нём ни капли рисовки, ни крохи наигранно-

сти. Без понтов. Да и пришёл, как человек к человеку. А мог облачиться в рясы, или что они там носят сегодня, крест во всё пузо, и заявиться, как «отец» к «чаду».

– Хочу вас, Марат Игоревич, в православную веру обратиться...

Апостол хмыкнул.

– Смеётесь? Вы атеист или коммунист? – совершенно неожиданно спросил священник.

Апостол захохотал. Нет, патлатый ему определённно нравился.

– Атеист, наверное... Хотя, вы правы, – Марат понял скрытый смысл вопроса, – воспитывался-то я при «коммунизме», так что атеизм мой не вследствие выбора. Другого мы не знали. «Бога нет», кажется, так утверждали в городах и весях. На самом деле религия – баловство, сказки.

– Сказки, говорите? А вы их читали?

– В каком смысле?

– В конкретном. Библию читали?

– А что в ней... Этот родил этого, тот родил того...

– Идёт время, его наверняка объявят вторым крещением Руси... Вы не представляете, порой приходится крестить по сто человек в день, причём большинство – взрослые люди. Знаете, Марат Игоревич, в разгар перестройки, когда вместо «нельзя» стало «можно», ко мне из школы для одарённых детей обратились за помощью. Просили в неурочное время, хотя бы раз в неделю, проводить занятия по исто-

рии православной веры. Учащиеся постоянно менялись, одни приходили, другие уходили. Я не задавал уроков на дом, посещение было добровольным. Что поразительно: элементарные сведения из истории православной веры, о Евангелии, о связи религии с культурой, дети не знали. Простейшие вещи воспринимались, как откровение. Интересовались, но задаваемые вопросы говорили об одностороннем образовании. Грустно... Вы, вижу, человек умный, развитой. Поверьте, это не комплимент ради расположения... Вот и скажите, каков, по-вашему, первый грех человека?

– Адама?

– Разве был кто-то до него? Стало быть, его, Марат Игоревич.

– Да ладно... Известно, какой....

– Чувствую, торопитесь. Вот что: я оставляю вам Библию, а вы пообещаете прочесть внимательно книгу Бытия из Ветхого Завета. Там всего несколько страниц. Завтра, с Божьей помощью, я снова вас навещу и задам вопрос заново. Договорились?

– Это что, игра такая? На интерес?

– Полноте, Марат Игоревич, кому придёт в голову играть с Богом на интерес? Нет, давайте условимся: сумеете ответить на вопрос – порассуждаем ещё, а не пожелаете – не стану более докучать.

– А если не смогу? – Апостолу нравилось происходящее, он любил «вызов» и любил одерживать верх.

– Тогда, пожалуй, не приду. Мне тоже, знаете, тратить время с тугодумами не улыбается.

Апостол в мгновение взвился, и у горла священника, царапая кожу, образовалась заточка.

– Полно, Марат Игоревич, экий вы несдержанный, – ничуть не испугавшись, посетовал священник, – уж и пошутить нельзя. Для церкви нет ни бакланов, ни воров, ни ментов – всё едино перед Господом. Касательно вашего вопроса об игре на интерес... знаете ли, ко мне недавно обратился прихожанин с вопросом. Спрашивает: что сказать сестре, не желающей креститься... не хочет она лишней заботы, их без того уйма, зачем ещё ответственность! Я ответил: разумная ваша сестрица, и рассудила верно. Что нужно человеку, чтобы принять Бога? А вот: искренность проникновения в начертанные таинства. Тогда ответственность безмерна, мысль свободна, и вера крепка – такова стезя к Всевышнему. Спрячьте лезвие, Марат Игоревич, не в моих силах насильно обратить вас в веру.

Отец Серафим встал, легонько постучал костяшками пальцев в дверь, и она открылась неожиданно быстро, словно Егорыч ожидал знака, прислонив к ней ухо. Апостол успел сунуть заточку в подошву ботинка, в тонко прорезанный кармашек.

Когда священник вышел, Апостол в раздражении плюхнулся на шконку. Голова, вместо привычной мягкости ударилась о что-то твёрдое. Он приподнялся, в недоумении ото-

двинул подушку. На шконке лежал томик Библии с тиснёным на обложке и взятым в золото распятием.

Крест украшал грудь Хана, но вместо Иисуса виднелось на нём обнажённое тело женщины. И вилась надпись: «Аминь. Я сполна отомстил за измену».

Апостол резко сел, в замочной скважине снова проворачивался ключ. Новых визитёров не ожидалось, но он потянулся встать. Как, спрашивается, не верить в чудеса.

На пороге стоял улыбающийся Хан с дымящейся зэчкой в левой руке. Правой держал связку ключей.

Хан за три года зоны подмял под себя братву вся и всех со словий. Участь не миновала даже охранников во главе с начальником учреждения – положенец ногой открывал дверь в его кабинет. Хан обзавёлся дубликатами ключей от коридоров, камер, и без помех перемещался по тюремным корпусам. Он крепил воровской закон, правил суд, миловал и карал. Апостол знал, как широка власть законника над зоной, но от такого уровня захватывал дух. Выходит, справедлива аналогия: смотрящему по России прислуживает президент России! Почему бы и нет!

– Входи Хан, окажи честь, – Апостол проморгал, что положенец до сих пор в дверях и, словно заново, со входа, наблюдает за ним.

Хан присел на корточки, глотнул чифирия, одобрительно крякнул и закурил. С давнего времени он предпочитал «отборные беломорные» – пробирающий до печёнок «Беломор-

канал». Выпустив дым, предложил папиросу ученику. Апостол курева не любил, но кто на зоне не пьёт чифирь и не дымит, попадает в касту отверженных.

Пока кружка не опустела, молчали: Апостол из уважения, предоставляя гостю право первого слова, Хан, словно раздумывая над чем-то, о чём хотел сказать, но передумал. Раньше за ним подобного не наблюдалось. Авторитет старой закалки всегда был решителен, отважен и беспощаден, но главное, перед чем преклонялся Апостол, оставался уверен в себе в любой ситуации.

Апостол всмотрелся в лицо Хана. Въевшиеся морщины трещинами разбегались от носа. Крупные, словно грубо тёсанные, черты. Его ломали в тюрьмах, лагерях, карцерах – но не сломали.

– Апостол, – засипел положенец, – в академии воспаление лёгких великий риск. Если говорить можешь... Сперва, чтоб меж нами не случились непонятки, расставим на места рамы. Тебя ни в чём не виню, малява от Лютого обязывает нас, как вертухаев приказы кума. Для себя реши, кем станешь, когда вырастешь, – каркающий смех старого вора заметался между стен, – есть, братан, всего два варианта: либо мы, либо они. На двух свадьбах не потанцуешь. Ты или корону примешь...

И Хан замолчал. Надолго. И Апостол не утерпел:

– Или?

– Или не примешь. Простой выбор... Стать человеком,

либо остаться, как все. Думай бродяга, я тебя ещё навещу. И помни, патлатый Серафим – хитрый змей, почище того, что искушал Еву. Хитрющий... – прошипел Хан. На его пергаментном лбу углубилась морщина.

Не будь Апостол Апостолом, метнулся бы к двери и разбил в кровь пальцы, в ужасе колотя по двери. Но он чинно поблагодарил вора за науку. Хан ушёл, дверь ещё некоторое время оставалась открытой, словно приглашая хлебнуть свободы. Положенцу запахло закрывать дверь. Люди заметили – плохая примета.

Охранник, сменивший зашуганного Егорыча, заглянул вовнутрь. Убедившись, что Апостол на месте, с силой её захлопнул.

Апостол раскрыл книгу. «В начале сотворил Бог небо и землю». Баста, обойдётся.

Ночью теньям пришлось несладко. Учитель как-то сказал ему: «Знаешь, сынок, чем отличается мастер спорта от кандидата в мастера? Мастер следит за мелочами. И кандидат тоже. Знания у обоих равные. Каждый умеет применять элементы защиты, атаки, комбинации, но когда дело доходит до боя, кандидат забывает о многом и ошибается раз за разом. Мастер обо всём помнит. Поэтому он – Мастер».

Ночные тени узнали, каков Апостол в бою – адреналин, скорость, взрыв. Они, возникшие из тумана, гордые и быстрые, не в состоянии были уследить, как он нападает, входит в ближний бой, защищается, и как выстреливает в ударе руки,

размазывая туманные ключья по стенам камеры.

Глава 2. Ступени. Ребячьи шалости

Кончина «отца народов» Иосифа Виссарионовича Сталина привела в замешательство страну, уверенно маршировавшую в заветное человеческое завтра. От главного «хозяйственника» страны Никиты Сергеевича Хрущёва, обещавшего согражданам жизнь при коммунизме, избавил Леонид Ильич Брежнев, прижизненно и посмертно лоцман «развитого социализма». Затем бразды правления перешли в руки слабых здоровьем перестарков: сперва Константина Устиновича Черненко, за ним Юрия Владимировича Андропова. Им довелось править недолго, каждому до своего упокоения. Кормило власти унаследовал «архитектор перестройки» Михаил Сергеевич Горбачёв. На нём и завершилась эра вождей в отдельно взятом государстве.

Во взятом отдельно городе Одессе великих правителей забыли быстро. Народ пуще занимали товары первой необходимости. Одесса продолжала привычно существовать на стыке времён. Бытовые очевидности, как и прежде, слагали историю, начинаясь с прилавка. За ним стояла бессмертная тётя Роза, вдохновляя земляков наслаждаться жизнью.

Лето на стыке времён выдалось – как и всё, что случалось в городе – невыносимо жарким. Конская лепёшка, вывалившаяся посреди мостовой и приумноженная устами рассказчиков, становилась настолько невероятной, что пол-Одес-

сы сбегалось взглянуть на колоссальную кучу, перекрывшую подступы к Привозу. Всякий, кто желал понять Одессу, отправлялся на Привоз. Счастливицу доставалась трагикомическая роль, ниспосланная свыше. И никто не избегал участи выплакаться от смеха, притом посмеявшись сквозь слёзы.

Было жарко. Так жарко, что молоко прокисало в коровьем вымени. Привоз вдыхал обыкновенное утро полной грудью. Ломились под снedyю прилавки – для острастки с призывами «Не массажировать». Глаза разбегались от изобилия копчёностей, бакалеи, овощей, фруктов, мяса и свежайшей рыбы. Завистливо жужжали орды пронырливых мух. В вещевых рядах красовался товар, доставленный из всех уголков страны и множества зарубежных стран. Умеренные, просторные и узкие брючки. Двубортные, классические, в ёлочку, или в клеточку пиджачки. Невесомое дамское бельё с пикантностями типа «Примерка бесплатно». Лакированные, на высоком ходу и бескаблучные башмачки. Туфельки. Кроссовки. Даже за милую душу бурочки из белоснежного войлока.

В таких мадемуазель Вера, замечательная одесская девушка, торговала простоквашей из подбитого эмалированного бидона. Вечером, заглянув домой, она посетит дискотеку возле Оперного театра, ночью продолжит наслаждаться популярными ритмами наедине с закадычным бойфрендом. Пока же посреди Привоза слышались откровения:

– Вера, ваши ноги отчётливо пахнут рыбой...

– А вы их не нюхайте. Нюхайте лучше мои волосы, вчера

я купала их в мыле «Запах Парижской зелени».

– Таки хорошо, что я не карлик и мне не треба нюхать ваши волосы... Скажите только, как поживает наш славный хлопчик...

– Маратка? Бугаёнок? Вы знаете, он таки имеет громадный интерес стать артистом. За ним доглядают соседи...

По Дерibasовской снуют толпы народа. В Аркадию на пляж одна толпа, в порт – другая, в храм или гостиницу – третья. Самая шумная и многочисленная – в центральную синагогу. Из подворотни в суету и скопление тел выныривает «пра-а-а-тивная» парочка. Ноль внимания на толпу. Но не сводят глаз друг с друга. «Нате вам, челомкаются рот в рот, чтоб вы так жили!» – отношение честных граждан благодушное: наказать. Торговки предлагают суд на месте и немедленный расстрел солёным огурцом в зад, точнее, испрося пардону, в ж...у. Опытные фронтовики – изолировать, как вражеских лазутчиков или диверсантов. Евреи, самые умеренные из всех, берутся перевоспитать, вдруг получится. Из-за длительного отсутствия консенсуса парочка исчезает в «Гамбринус», и внимание публики переключается на другой колорит.

Мальчишка лет пяти-шести, не более, прикидывается статуей, набычившись поперёк тротуара. По пояс гол, ноги в драных ботах, в штанишках с заплатами плотного фетра: белой, синей и красной. Рядом жестянка из-под печенья «Ла Скала». Кое-кто из прохожих бросает в коробок монетку, иногда рублик. Ахают, выражая всеобщий восторг: ребё-

нок – уменьшенная копия Геркулеса. Стан, мускулатура хоть сейчас в музей антропологии. Малец чёрен, как грач, кудрявее барашка, и тих, словно ночная Одесса. Но, окажись в пределах досягаемости подходящая жертва, «статуя» молниеносно оживает. Незримый на ослепительном солнце выпад, и несчастный ротозей падает навзничь.

Всё бы ничего, и можно «проходите мимо, куда шли свой путь», но забияка щедр на затрещины даже детям, фланирующим под родительским присмотром. Взрослые справедливо негодуют, припирают шалопая к стене, но тщетно. Малый бессовестно бесстрашен. В ответ кривляется, плюётся, матерится так скверно, что официанты из «Гамбринуса», выбравшись на перекур, заносят перлы в поминальники для препирательств с пьяной матроснёй.

В конце концов малолетнего хулигана окружают наиболее отважные защитники потерпевших и бывалые свидетели.

– Не дотрагивайся, тебе говорю, он заразный!

– Оставьте, пацан всюду не в себе!

– Он цыган, натуральный цыган... Не видишь? Как почему? У них там табор!

– Забашляй – погадает!

Лаются, но приблизиться вплотную не смеют. Малец тем временем принимает угрожающие позы, демонстрируя мускулатуру. Матерится, наскაკивает! Папы и мамы озадаченно робеют. Осторожно ретируются, хотя могут приструнить, скрутить, даже затащить в ближайший участок. Сила и без-

рассудство во все времена вызывали панику. Так пасовала перед обнажёнными берсеркерами закованная в доспехи рать.

Верх всегда берут нахрапистость и дерзость! Малец, подывая и гримасничая, выуживает из штанов штрунгель превосходных размеров и направляет в толпу напористую струю. Озадаченный народ шарахается прочь. Шалопай пускается вдогонку, настигает и пинком отправляет на тротуар ближайшего мальчика. Подоспевший отец, подхватив на руки огорошенного отпрыска, уносит утешать в сторонку.

Иногда справедливость торжествует – когда Геркулесу встречается столь же клыкастое хамство.

Так рушились древние традиции, порождая легенды. Но окажись поблизости учёный языковед Даль, пословица «Один в поле не воин» вряд ли оставила за собой право существовать.

Насладившись вожделенной победой, маленький забияка задирает голову. Прислушивается: невдалеке куранты звонявляют серебряными молоточками мелодию песни, сладостной всякому одесситу: «Одесса – мой город родной».

Наступает полдень, юный шалопай встречает его изысканным ругательством. Бежит что есть духу, чтобы не опоздать, на ходу опрокидывает в ладонь жестянку, сосредоточенно шевеля губами. Ого! В «Ла Скала» намечается трёшка – «И на маманин заказ, и на потом...». Бюджетный рубль, жалованный мамой Верой поутру, осел в желудке парой сдобных

плюшек с изюмом, банкой сгущёнки и шикарным пломбиром на палочке.

Сдачу Марат собирается сохранить, но на углу Ришельевской смешно балагурит мужичок в нелепой для лета, нахлобученной по швы ушанке. Он торгует домашней выпечкой. Достает лакомство из закопчённой кастрюли, затем, бережно обмотав бумажным клочком, вручает покупателю. Рядом с очередью глотает слюни сопливая нищета, ей и пятикопечный пончик – праздник.

Марат вразвалочку огибает очередь и, цыкнув на правильного покупателя, оплачивает оптом шесть пирожков с капустой.

В Одессе дети рано входят в курс дела. В магазин их отправляют лет с пяти. В правилах одесской торговли так и прописано: разрешается отпускать товар ребёнку, если он в состоянии сосчитать самостоятельно, другими словами, получить полную сдачу. Марат умеет, хотя в бакалее тётки Паши строгостей не придерживаются. Сама Павлина, пышногрудая «брунетка» между обеих щёк, блюстительница социалистической законности, денежку у мелюзги берёт аккуратно. Выдаёт сдачу реально всю. Покупатели постарше этой привилегией не пользуются. Продавщица пребывает в уверенности, что приличный покупатель не станет въедливо изучать цены или требовать перевзвешивания товара, он обязан готовить деньги заранее, не мелочиться и быть снисходительным к просчётам торгующей стороны. Узаконено также до-

жидаться очереди вежливо, не ропща, не выказывая недовольства. При нарушении любого правила мгновенно запускается режим контратаки, состоящий в обвешивании, обсчитывании и облаивании покупателя.

По отношению к детям продавщица, исходя из весомых причин, и впрямь святая. Перво-наперво, мадам Паша имеет сердце, чтобы жалеть малых мира сего. Во-вторых, нехитрый ассортимент бакалеи не меняется годами, даже десятилетиями. Поэтому прижимистая Верка, маманя вундеркинда, всегда твёрдо знает, сколько выйдет сдачи.

Магазин окраинный, тесненький, мадемуазель Вера называет его «райпо». Утром напутствует: «Марат, зверёныш, пойдёшь в райпо за «пожрать», винца портвейнчик возьми. Красненькое утешает жизнь... Не задерживайся, участкового обойди десятой дорогой... Всё осточертело... Тошно... Был бы папик жив...», – в этом откровении она роняет слезу, Марат же по-быстрому выбегает из дому, стыдясь поддержать: батю своего хоть и не знает, но любит крепко.

Вырвавшись во двор, пацан отпускает ругательство, и соседка-дворничиха, сухопарая немка Ляйпнихт – её корят за «фашистскую» кровь – наспех перекрестившись, возмущённо сплёвывает в сторону. Марат намеревается досадить ей штрунгелем, но вовремя спохватывается. Бабка сильна и мстительна, выкрутит заранее лампочку в подъезде, подловит, да ка-а-ак крутанёт ухо – искры сыпанут из глаз.

Ограничившись кривлянием, выбегает вон, не забыв раз-

давить песчаную башню, вылепленную в песочнице бездельницей Сарочкой. Смуглянка, с досады забыв о школе, гонится за ним, но возле «Гамбринуса» отступается, испугавшись двух пьяных морячков, кожей чернее, чем сама.

Кое-как отдышавшись, Марат испытывает жуткое чувство голода, что и приводит к растрате мамкиных кровных. Благо, в руке «Ла Скала», много раз выручавшая в непростых ситуациях. Безотказный жестяной кошелёк.

В райпо сумрачно, и Марат, попав с солнца во мрак, на время слепнет. Остановиться бы, прижмуриться, дождаться зрения, но нетерпеливая натура не даёт покоя, подталкивая к действию. С трудом различая силуэты, с разбегу влетает в чьи-то ноги. Над головой нависает несравненной величины зад. И вместо того, чтобы извиниться, как следует по-честному, с удивлением возмущается:

– Не приберёте ли свою ж...пень! Я с вас смеюсь...

Она подседает, разворачивается, и вместо обтянутой платьем необъятности на охальнике останавливаются жёлтые, продолговатые и шалые, как у дворовой кошары Навки, глаза. Марат придерживает дыхание, ощущает внутри левой штанины тёплую струйку.

– Ты што шказал, мальтшик? – по-змеиному шепелявит незнакомая тётка. – Мальтшик, а ты грубиян.

Если бы не убойная желтизна глаз, дама бы выглядела безобидно, впрочем, иначе, чем большинство знакомых матрон, и этого Марат объяснить не может. Белое, хоть сейчас к вен-

цу, платье, экстравагантная шляпка с фальшивой фиалкой, и омерзительно жирная на губах помада.

– Скажите пошалуиста, ему не нравится! – снова шипит она, отворачивается, нагибаясь за сумкой, высоко подтягивается к спине подол её платья. Можно не сомневаться – рай-по пронизывает аромат резеды. Наверное, нижнего белья мадам не носит, или оно пропадает в складках душистого естества.

У Марата темнеет в глазах, в голове булькает кипяток и пересыхает во рту. Он осматривается. Все в магазине остаются спокойны, будто ничего не происходит. Даже сердитая продавщица продолжает взвешивать сто пятьдесят грамм маргарина. Шепелявая мадам тоже неподвижна, будто статуя восточной девушки, сборщицы хлопка.

Марат осторожно возвращает взгляд. Кажется, уже видел это, но разве упомнишь, где – на картинке, или на пляже нудистов, куда однажды забрёл... Над вертикальным разрезом, делящим дамскую уникальность на две роскошные доли, вырисовывается отросток, и если присмотреться – кажется, не татуировка. Становится жутко. Марат трогает завитушку, вполне натуральный хвостик, его ошеломляющую неоспоримость, вскрикивает и со всех ног пускается вон. Вслед ему несётся: «Убирайся прочь, глупый уродец, вон из ЦУМа!». Литаврами стучит о мостовую двойной башенный хохот.

Наконец, дома. В ознобе стучат зубы, в голове жестокая

зыбь. Бросается в постель.

Мама Вера, возвратясь к вечеру, застаёт хворого со сногшибательной температурой. Вместо званной вечеринки то и дело щупает горячий лоб. Решительно ставит градусник. Последний замер грозит жаром под сорок, но когда она решает проверить градусы в непривычном месте, сынок артачится. Если Марат упирается рогами, значит, настаивать ни к чему. Ничего не добьёшься, только связки надорвёшь. А как торговать на толчке без голоса? Звать участковую поздновато, тащиться в больничку далеко – такси и прочее, промурыжат всю ночь.

Мама Вера вертит в руках четвёртый пакетик аспирина. «Не многовато ли... Ерунда, бугайку аспирин, что слону дробинка, весь в папашку...».

Зажав мальцу нос, дожидается, когда он в удущке раззявит рот и высыпает порошок в глотку. В горле будто барханы, но наготове стакан воды. Пара глотков, и малый откидывается на подушку. Мама Вера мочит в уксусе марлю и лепит страдальцу на лоб. Он вздрагивает, не приходя в себя. На часах под потолком нервная стрелка жмётся к римской цифре, напоминающей два столба. Сутки на своих двоих... Не раздеваясь, припадает к сыну. Охватывает рукой, вторую кладёт себе под голову. Через секунду спит. Спит и снится.

Снится, будто пыльные занавески, охраняющие квартиру с балкона, трепещут в безветрии. Ни луны, ни звёзд, лишь зловеще подмигивает ночник. По стене крадётся окаянная

ть. Ворсистый тигр косит с ковра шерстяным глазом, но тут же хитрит, уставившись на сервант. Там не страшно, там привычные фаянсовые фигурки в дозоре за хрусталём. Шевелится занавеска в кладовку. Тень, полого слившись в коридор, задерживается в гостиной подле рухляди – век не играного пианино. Инструмент расстаётся с фальшивым минором, словно икнув. Слева малютка кухня, справа совмещённый санузел – ванная плечом к плечу с унитазом, впереди ситец «заставы», ограждающей спальню. На полке над трюмо сонник Нострадамуса, раскрытый на «больной» страничке: «Видеть во сне безумца – опасность, о ней вы узнаете раньше тех, кому она угрожает, и от ваших действий зависит их судьба».

Вере видится нехороший сон, сумбурный, как страдание сына. Скверно бесцеремонная бабища носится по квартире быстро, как может двигаться секундная стрелка, отсчитывая последний вздох. Бессовестная женщина мечется по квартире, оставляя чёрные метки всюду, чего коснётся. Кроме старого, в тусклом лаке, пианино – оно остаётся незамаренным, вызывая нечистый гнев гости. Приблизившись к матери с ребёнком, она останавливается, растворяется на мгновение в воздухе, затем нависает над ними и, словно бичуя, шепчет: – Думаешь, не имею над ним власти? Очнись, безмозглая Вера, – имя женщина произносит с брезгливой гримасой, и спящей становится за себя обидно.

Спящая Вера точно знает, что спит, иначе, не раздумывая,

вцепилась бы ногтями в отвратительную харю. Тень, обмаравшая дом, исчезает, размазывается в пространстве и снова возникает, но уже с другой стороны кровати, над мечущимся в горячке сыном. Только что была здесь, а уже там, рядом с кровиночкой, с её бугаёнком Мараткой. Он как-то сразу обмякает, красивый, горячий, беспомощный. Смотрит жалобно открытыми глазами. Женщина проводит ладонью перед его лицом. Черты разглаживаются, словно происходит разрядка мышц – нижняя губа провисает, поверх выпячивается мокрым, как в малиновом соку, язык. С него на подбородок тянется клейкими побегими слюна. Глаза ползут из орбит, придавая выражению матёрую законченность. Дауны насквозь безмятежны, а тут личина, мать догадывается сразу: трагическая маска улыбаться не может.

Дама хохочет, обнажая буруны подпиленных зубов. Вера пытается проснуться, но сон держит крепко, заставляя наблюдать и осознавать.

Дама вновь проводит ладонь перед лицом Марата. Оно произвольно, хотя и не мгновенно, приобретает осмысленность. Будто ловкий бес заново наполняет тело Марата изътой, но неприкаянной душой.

«Господи Иисусе...» – пытается прошептать Вера, но губы не слушаются. «Господи...» – упрямится она, и голова её постепенно наполняется святостью: «Господи Иисусе – Господи Иисусе – Господи Иисусе...». Тень останавливается на мгновение, словно к чему-то прислушиваясь. Презри-

тельно рассматривает молящуюся беззвучно женщину, затем небрежно проводит ладонью перед её лицом:

– Оставь, бессовестная... Ты тоже моя холуйка...

Слова гудят, вслед – эхо и заунывный гул. Буквы рассыпаются и складываются в проклятья. Вера теряет нить жизни. Вместо молитвы в голове слышится то гадкое «Навалите», то истеричное «Помесите».

Удовлетворённо хмыкнув, дама щерится и возвращается к мальчику. Вера, чтобы не сойти с ума, пытается запомнить ненавистное лицо, надеясь при встрече разодрать в клочья, но и это оказывается выше сил. Не хватает ни образов, ни сравнений. То, что вначале представлялось неприглядным, но определимым, на поверку оказывается тенями чуждых восприятию фантомов. Отнести их к ассоциациям невозможно, как описать и запомнить тьму, ужаснувшую заживо похороненного человека и очнувшегося в наглухо заколоченном гробу.

Проходит не меньше жизни, и даме наскучивают игры с Маратом. Видно, что-то идёт не так, противоречивые преобразования надоедают. Тогда она раздражённо плюёт мальчику в лоб и уходит из сна.

Вера усилием воли заставляет себя проснуться и тут же разворачивает сына к себе. Отирает его взмокший лоб. Звуковая каша в голове, рванув когтями кожу лица, утихает, Вера истово молит напоследок: «Господи, услышь!!!». Боль отрезвляет, Вера трясёт сына, полагая, что застывшая мас-

ка – следствие глубокого сна. Марат просыпается на удивление быстро, безразлично смотрит на бьющуюся в истерике мать и затягивает на одной ноте нескончаемое: «Э-ми-ли... Э-ми-ли... Э-ми-ли...». И одуряюще плохой запах. Вера переворачивает мальчика на спину, стягивает штанишки. Так и есть. Её шестилетний сын, казавшийся много старше своего возраста, уделан, чего не происходило, как минимум, лет пять. Уже с десяти месяцев он внятно нуждался в надёжном горшке.

Мать подхватывает сына на руки, вскрикивает, едва не надорвавшись. Он падает на кровать, мыча. Тогда она стаскивает его вниз, на пол, осторожно придерживая за плечи. Быстро, на границе сознания, сворачивает ковёр, ставит в угол, затем тащит парня по начищенному до скользкости паркету. Марат не сопротивляется, позволяя делать с собой что вздумается. На личике сумеречность олигофрена.

Ей везёт: психиатр в районной поликлинике – благообразный и трезвый мужчина на предпенсионной грани. Он живо пресекает разыгравшийся скандал:

– Женщина! – визжит регистраторша. – Сколько раз можно долбить, – только по предварительной записи... Вот бестолковая попалась...

– Слухай сюда, чурка вербованная! Расшнуруй zenки, сыну к доктору треба! – добивается справедливости Вера.

– Семён Витальевич, это всё, это конец... – картинно разводит руки регистраторша, изображая роковой кризис.

Идут молча. Доктор спрашивает сразу, как только Вера, подталкивая сына в спину, попадает в кабинет:

– Обострение?

– Ох.....ное! Лёг спать нормальный, ну – температурка была... И на тебе!

Видно, загубив на борьбу с регистраторшей последние силы, Вера обмякает, сползает на подставленный врачом стул и горько рыдает, пряча лицо в ладони.

Убедившись, что она в порядке, доктор приступает к делу, усадив парня на затёртый диванчик. Для этого приходится придавить мальцу плечи, Марат отказывается понимать, чего от него хотят. Парень выглядит античным многоборцем в миниатюре, университетские интерны могут изучать по нему анатомию. Старый врач, повидавший казусов на своём веку, не суетится, ему некуда спешить. Сторонний наблюдатель нашёл бы его медлительным. При сравнении легко обнаружилась бы несостоятельность молодого коллеги.

Семён Витальевич наливает в стакан свежей воды из графина, он вообще ревниво следит за свежестью. Капает туда двойную, потом, потакая мыслям, тройную дозу валерьянки, поит женщину, и садится за стол в ожидании результатов. Они вскоре сказываются. Всхлипывания становятся реже, затем сходят на нет. Убедившись в её адекватности, Грачевский кротко спрашивает:

– Вы кто, голубушка?

– Верка, – удивившись вопросу, отвечает она, но сразу ис-

правляется, выпрямляя спину, – Вера Андреевна Муравьева-Апостол...

– Вера Андреевна, – будто задумавшись, бормочет доктор, и представляется со своей стороны: – стало быть... Семён Витальевич... Ну-с, а мальчик?

– Марат... наверное... – отвечает она, всхлипывая.

– Он вам кто?

– Как – кто? Сын!

– Тогда почему «наверное»?

– Ну, просто он таким никогда не был, я ж говорю, вчера заснул нормальным, температура была...

– Так вы говорите, что молодой человек ваш сын? – принципиально уточняет доктор.

– Господь с вами, Семён...

– Витальевич.

– Да, Семён Витальевич, сто процентов – сын.

– Так-так, уже лучше. Где наблюдается бутуз?

– В смысле?

– В каком психоневрологическом диспансере, я интересуюсь, наблюдается ваше чадо?

– Что вы такое несёте, доктор, он нормальный, хоть сейчас в лётчики-космонавты, – Вера заводит прежнюю песню, но Грачевский жестом останавливает:

– Знаете, Вера Андреевна, я вам верю! Я, – доктор подчёркнуто выделяет «я», – верю. Как человек, как мужчина, в конце концов, но как врач и психиатр, простите, увы...

Свежо предание... Давайте сделаем вот как, – барабанит он пальцами по столешнице и поднимает телефонную трубку, – Светик, не в службу, а в дружбу, вытащи карточку Маратика Муравьёва-Апостола, – Семён Витальевич вопросительно глядит на мамашу, она услужливо подтверждает:

– Так и есть... Только напрасно...

– Да-да, Муравьёв-Апостол, шести полных лет от роду. Спасибо, золотко, жду.

Пока «Светик» ищет медицинскую карту, доктор тщательно осматривает малыша. Заставляет его пройтись – малый постепенно добирается до стены и останавливается. Оценивая походку и осанку, доктор осматривает лицо и тело. Подносит к глазам мальчика молоточек, медленно водит им, приближает к кончику носа. Мальчик бесстрастно реагирует на то, что вызывает улыбку молодых пациентов. Не обращает внимания на просьбы «наморщить лоб», «поднять брови», «оскалить зубы», «показать язык». Ого, налицо патология – ни одного живого рефлекса. Покалывание иголкой в симметричных зонах тоже безрезультатно, Марат не замечает боль. Удары молоточкам по сухожилиям не вызывают коленной рефлексии. От глубокого обследования доктор воздерживается: нарушения интеллекта и памяти явные, диагноз не вызывает сомнений.

Работая, Семён Витальевич то и дело бросает взгляд на мать, её горе кажется искренним. «Выраженные кататонические симптомы на фоне психоза движений» – едва слышно

бормочет доктор, когда в дверь стучат.

Медицинская карточка Марата обнаруживается скупой на диагнозы. Кроме родовой желтухи, прививок и нескольких респираторных заболеваний, ничего интересного. Парень на удивление здоров. Ни единого упоминания об отставании в развитии или душевном расстройстве. Правда, участковая дама оказывается шибко грамотным доктором. Запись о возможном «нарциссическом расстройстве личности» украшает документ, но Семён Витальевич полагает, что мадам перестаралась в психиатрическом диагностировании. Находить такое расстройство в столь юном возрасте предполагает, как минимум, профанацию. Может ли ребёнок в шесть лет ощущать убеждённость в собственной уникальности? В особом положении и превосходстве над остальными людьми? Вполне вероятно, что пацан испытывает определённые трудности в проявлении сочувствия, но такие незначительные отклонения имеют больше отношения к неправильному воспитанию, чем к патологии. Хотя в любом случае никакое расстройство личности не объясняет нынешнего состояния мальчика.

Мама Вера негромко всхлипывает, Грачевский отрывается от бумаг. Возможно, слишком резко для человека, владеющего ситуацией. Пожилой врач смотрит на часы, снимает очки, неспешно протирает их носовым платком с вензелем «С.В.», собираясь с мыслями. Он задумывается и размышляет чуть ли не с четверть часа. Слишком часто в последнее время случаются выпадения из реальности. Пятнадцать

минут на несколько машинописных страниц отчёта – явный перебор.

Собираясь с мыслями, Семён Витальевич то и дело поглядывает сквозь стёкла очков на свет, отыскивая лишь ему заметные соринки.

– Доктор, что с моим сыном? – не выдержав затянувшейся паузы, задаёт Вера ожидаемый и столько же преждевременный вопрос.

Грачевский не готов ответить сиюминутно. В узких кругах он славится прекрасным диагностом, даже слишком для районной поликлиники, но тут, как говорится, каждому своё, особый случай.

– Сколько времени температурил мальчишка?

– Сколько? – мама Вера задумывается, – вечер, часов, наверное, пять... Я прихожу, он в кроватке – лобик трогаю, горячий. Ставлю градусник – сорок, как кипяток...

– В подмышку?

– Да... Пытаюсь «туда», он не даёт. Заставляю проглотить аспирина, дожидаясь...

– Максимальная температура?! – врач спрашивает отрывисто, как на операции.

– Чтоб вы мне жили... Даю ему ещё аспирин, два раза или три, точно не вспомню. Последний раз, кажется, тридцать девять с половиной...

– Кажется ей! Почему не поехали в больницу?

– «В больницу», – передразнила Вера Грачевского. – Кто в

больницу с высокой температурой идёт? Обычно как? Пропотеет – и на утро огурчик, гриб после дождя. А тут... – женщина снова плачет.

Стыдится рассказать пожилому и очень добросовестному врачу о страшном сне. Не по чину. И нужно ли?

– Вера, поймите меня правильно, случай архинетипичный. Не хотелось вас пугать, – оба вместе поворачиваются к Марату, он самозабвенно пускает слюни, – современной медицине известны случаи, когда при скандальной температуре человеческий мозг не выдерживает огненной пытки и защищает себя, как может.

– А как он может? – Вера сидит, широко раскрыв глаза, для полноты впечатления не хватает напротив разверстой крокодильей пасти.

– Здоровый мозг ребёнка может многое, реакции у него здоровые. Скажем, попросить маму отвести его в больницу. Наоборот, мозг, объятый пламенем, помышляет лишь о том, чтобы любой ценой спасти организм от краха, пусть даже через умерщвление сознания. Ментальный побег из угрожающей реальности порой не лучший, но вероятный способ выживания. Поясню, – спешит высказаться Грачевский, видя выражение лица собеседницы, – существует вероятность, что сознание мальчика спряталось само в себя. То есть внутри оно всё тот же Марат, но внешне – вовсе другое «существо», уж простите, милочка, за некорректное сравнение. Наружу Марат и носа не сунет, справедливо опасаясь атаки.

– Бойтся? Меня, матери?

– Вот именно. В первую очередь вас. Такова реальность. К сожалению, ваше лицо последнее, что видел Марат, убегая в себя. Именно вы, как ни парадоксально это звучит, ассоциируетесь у него с болью и страхом.

Некоторое время Вера молчит. Семён Витальевич тоже не спешит, позволяя женщине переварить услышанное.

– Но не стоит заранее волноваться, – понимая, что пауза затягивается, возобновляет беседу врач, – пока это лишь мои предположения, основанные на полученной информации и поверхностном осмотре. Требуются тесты, анализы, осмотры специалистов. Я настаиваю на срочной госпитализации. Не будем откладывать дело в долгий ящик, сейчас же выписываю направление, заверьте его в регистратуре и незамедлительно везите мальчика в диспансер. Простите за вольность, – тотчас поправился Грачевский, – в психоневрологический диспансер... Знаете? На Канатной улице... Неделька-другая – и мы сможем предложить обстоятельную версию.

Семён Витальевич ещё раз щёлкает пальцами перед носом Марата, вдыхает тяжёлый запах, исходящий от мальчика, разводит руками и садится к столу писать. Уже напоследок не совсем уверенно добавляет:

– Всё будет в порядке... Прояснится диагноз, получите рекомендации по лечению. Желаю здоровья! Вам и сыночку.

Оказавшись в коридоре, Вера комкает писульку, и, за-

швыривая в мусорную корзину, сообщает миру о своём отношении к диспансеру и к доктору, направившему туда:

– Щас возьму разгон с Дерibasовской... Я с вас окончательно удивляюсь...

Янина, соседка с первого этажа, кудахчет над Мараткой в голос, пока мама Вера не одёргивает её зычным рыночным окриком, что сдерживает даже ретивых воришек:

– Цыц, всё, я уже ушла. Ты только пить давай, вернись, накормлю, – напутствует она ошалевшую от свалившегося горя приятельницу, – туда-сюда на толчок и обратно... Мигом обернусь, товар по девкам раскидаю...

Возвращается она действительно скоро, задумчивая и тихая. Машет Янине Ильиничне рукой, иди мол, подруга, спасибо, обнимает сына. Когда соседка переступает порог, окликает:

– Годи, Янина, – та останавливается, – ты в храм ходячка... Просьба у меня к тебе... век не забуду... дай свой крестик на часик.... Дай! – вопит она басом, и в прыжок оказывается подле неё, падает на колени. Обнимает так сильно, что Ильинична едва не теряет стойкость. – Христом Богом прошу! Янина! Дай крестик!

– Отпусти, дурында, – соседка с силой отпихивает от себя липнущую к ногам мамку, – чего дуркуешь?! Дам я тебе крестик... Ну? Дам! Надоумил ли кто?

– Товарки с рынка, в храм иди, говорят...

Что двигало революцией, науськивающей народ на Церковь? То ли вражда, то ли ненависть воспалённых умов, но при её главенстве закрылась половина приходов, три четверти монастырей, погибли многие священники, поощрялись издевательства над паствой. Атеистическая компания равнялась разве что с вакханалией. Газеты наполнились мерзкими карикатурами и богохульными статьями, оскорбляющими религию и священнослужителей. По площадям и улицам городов прокатились волны богоборческих шествий и карнавалов. Комсомольцы устраивали дебоши в храмах во время богослужений, попытки сопротивления вели к кровавым столкновениям, за ними следовало закрытие храмов. До сих пор ношение крестика виделось странностью. Потому-то попросить на часик-другой у соседки крестик не было чем-то обычным, самым собою разумеющимся.

– Иди, Вера Андреевна, в храм святых мучеников Адриана и Натальи, – быстро зашептала Янина, – правы девчата твои, в этот храм архиепископ Никон под ручку с академиком Филатовым ходили... Не просто так, значит... Вместе святое вершили для добра и духовности... Иди себе, подруга, а я с Мараткой подежурю, чай, не чужие.

– Соседушка... Подружка... Ильинична... – Вера норовит целоваться, но Янина в суровости, – век не забуду, глянь... Марат мой снова, как сосунок, под себя ходит...

И на дурную взывает.

– Знаю, знаю, пока ты по толчку бегала, я ему дважды пе-

ременяла. Ничего, ничего, ступай, – Янина снимает с шеи тонкую серебряную цепочку, надевает Вере, крестик скрывается между грудей, – отыщи батюшку, он поможет...

Смиранный храм на Французском бульваре пережил гонения и возродился, как феникс – вновь в сиянии купольный крест, и колокол воспеваеет возрождение.

Набравшись смелости, Вера входит. Засмотревшись на иконостас, не замечает, что батюшка рядом, облачённый, будто снизошёл с небес. Вера немедля робеет, и, опуская голову, неумело крестится.

– Впервые в Храме, дитятко?

От этого «дитятко» Вера вся мгновенно плавится и, разрыдавшись, тычется затылком священнику в бороду. Он не отступает, обняв за плечи. Стоя, пока Вера не успокаивается настолько, чтобы спросить ненужное:

– По мне, батюшка, сильно заметно, что новенькая?

– Люди, доченька, по-разному ведут себя в Церкви. В наши смутные времена прихожан не много, и всех я не только в лицо, но и по имени знаю. Не исповедоваться ли пристало?

– Беда, батюшка – Вера безнадежно взмахивает рукой и принимается за рассказ.

Священник слушает вьедливо, не перебивая, но когда Вера пересказывает сон, заставляет вспомнить до мелочей. Затем прикрыв глаза, долго о чём-то размышляет. Бедная Вера, напуганная непривычной ситуацией и чересчур серьёзным отношением священника, остаётся ни жива ни мертва.

Когда подошёл, думала – перекрестит, произнесёт сокровенное «Изыди...» и отпустит. Не тут-то было.

– Знаешь, дитя моё, когда пастырь оставляет стадо, неважно, по своей или чужой воле, народ бросается к магическим игрушкам. Антихрист хитёр во множестве личин. Полчища нечисти завладевают пространством... Почему твой сын? Кто знает. Говоришь, шаловливый не в меру, может, ответ в этом: страсти пагубны. Кто он, Антихрист – противостоит Богу и народу, зато радостно благоволит страстям и пагубе. Сатана на себя разные личины кладёт... – священник прерывается, осознавая, что прихожанка не с ним, – прости, дитя моё, если напугал тебя речами. Пойдём.

Они останавливаются у алтаря.

– Здесь заключена частица Креста Господня, молись, дочь моя, и да смилостивится Господь над чадом твоим, сыном Божьим некрещёным Маратом.

– Я слов не знаю, – лепечет через слезу Вера.

– Я тоже. Попроси у Отца нашего избавления сыну от напасти... Главное, чтобы просьба изнутри сердца шла... Спаси, Боже...

– Боже праведный... Милосердный... Отец... Дай здоровья дитяти моему Маратику... Нет мне жизни без мальчика... Прости, если виновен... И меня прости...

Батюшка при молитве рядом, руку на голову накладывает, говорит слово решающее:

– Аминь...

– Поможет ли? – спрашивает мать, вцепившись в рукав рясы.

– Верь, тогда поможет. Не ропщи! Что бы ни произошло – не ропщи! Всё, что ниспослано, принимай с покорностью и с любовью.

С тем Вера возвращается домой и остаётся спокойной, хотя изменений на лице сына нет. Благодарит Янину, возвращая крестик. Янина великодушна:

– Возьми, тебе нужнее.

– Не переживай, – Вера выпрастывает из-за отворота платья крохотный серебряный «плюсик».

– Купила? – радуется соседка.

– Нет, Ильинична, батюшка одарил и наказал верить...

– Ты верь, Верка! Верь! – оглядывается, словно спохватившись, несмотря на то, что одни и, понизив голос, упрашивает. – Не думай... это Господь наказывает за дела наши...

Подруга уходит, мама Вера купает сына, одевает в чистое. Мальчик ни на что не реагирует, сам в себе. Укладывает в кровать, снимает крестик и надевает на шею ребёнка. Ложится рядом и проваливается в заслуженный сон без сновидений. В обнимку с ночью.

Утро субботнее – кромешное солнце, беспробудная тишь. Открывает глаза и ощущает взгляд Марата. Новый, ещё не прежний, но и не тот, что давеча. Осторожно успокаивает локоны.

– Вставать надо, сыночек, – говорит первые слова, – а вот

где бурочки скинула, и не помню...

Марат приподнимается на локоток, смотрит.

– Я знаю, где, – говорит, подскакивает, как прежде, рывком, бежит к кладовой и вытаскивает материнскую обувь, особую, на все случаи жизни.

– Вот...

Вера изнемогает:

– Услышал! Услышал! – кричит, подхватывает сына и вихрем кружит по комнате.

Глава 3. Тюрьма. Перспектива.

Отец Серафим сдержал слово, чем неожиданно раздосадовал Апостола. Завидев батюшку, он вспомнил обещание прочесть книгу Бытия. Апологетов надо разить их же оружием, в данном случае – осведомлённостью. Апостол твёрдо знал: стоит ему углубиться куда-нибудь в науку, искусство или спорт – оставит позади всех. Но сперва надо захотеть. На одном отрицании далеко не уедешь. Ладно, сегодня пронесёт. Кто не помнит, в чём заключался первородный грех Адама! Даже такие сугубые атеисты, как он, знают.

– Ну-с, мил-человек, Марат Игоревич, чем порадуете?

– Вот что, святоша, ты мне фиксами загодя не сверкай, – воспротивился Апостол вопиющей фамильярности.

Его глаза василькового цвета потемнели, как небо перед грозой. В словах священника чудился подвох, а любые поползновения на свободу с детства приводили Марата в бешенство. Вспомнилась подворотня под Гамбринусом и нрауочения тюфяка в форме железнодорожника:

– Эй, пескарёк, майку-то накинь, чего мослы демонстрировать...

Если бы не малолетство и не гремучая ярость, быть ему битым. Но именно тогда, на Дерibasовской, он впервые осознал сладость победы. Простак, подхватив за руку сопливого отпрыска, улепётывал. Да и кто устоит, если по-настоящему

прыгнуть!

Священник примирительно поднял руки:

– Простите, Марат Игоревич, я думал, мы с вами договорились.

– Договорились, – буркнул Апостол, – ваше святейшество готово выслушать без фанатизма?

– Со вниманием, – с тенью улыбки возразил тот.

– Так вот: яблоко.

– Простите?

– Яблоко.

– По правде сказать, я намечал принести вам фрукты, но на КПП каждый раз так шмонают, что изюминку не спрячешь.

Апостол посверлил глазами собеседника, но, не обнаружив насмешки, сообразовал пояснить:

– Ладно, будь по-твоему, патлатый, получи ответ и распишись. Змея виновата!

– Сказать строже: змей, – уточнил батюшка.

Апостол поиграл желваками, но и на сей раз сдержался. Не случись малявы от Лютого, за подобную наглость декламировать попу до утра «У Лукоморья дуб зелёный».

– Змей так змей... Подло соблазнил бабу, и она, непутёвая, скормила Адаму палёное яблоко, запретное хавать.

– Почему?

– Что почему? Почему соблазнил? Почему бабу? Почему Адама? – Апостол едва сдерживал раздражение, игра, едва

начавшись, надоела.

– Нет-нет, почему кушать-то запретил?

– Это его дело. Какая разница. Не помню.

– А что? Верно. Запрет есть запрет, так? Ведь если положенец запретит мужику на зоне что-либо делать, или запретит не делать, тот ведь его послушает, не рассуждая?

– Ясное дело, если не совсем конченный, но таких здесь хватает, – усмехнувшись, ответил Апостол.

– Значит, Марат Игоревич, будем считать, что сегодня вы не выполнили задания. Утешать вас не стану, – последние слова, несмотря на шуточный тон, вышли отчуждёнными, – снова попрошу: прочтите книгу Бытия внимательно, – отец Серафим порывисто встал, подошёл к двери, позвал Егорыча.

Как и в прошлый раз, охранник словно подслушивал – скорее всего, так и было – и вмиг отворил. Священник ушёл, но Апостола долго грызло недовольство собою. Таких отповедей давно не приходилось выслушивать. Марат раскрыл книгу. «В начале Бог сотворил..., и стал свет...». То, что миллиарды людей во всём мире продолжают верить притчам, казалось неестественным. «День первый... И стало так... День второй...». Сколько бреда втиснуто в несколько страниц. Неужели никто не замечает бесконечные противоречия и неточности? Сперва, вроде, уж сотворил человека, животных, растения, а потом, дальше, всё заново. Патлатый

мозги пудрит. Хитрый змей обманул Еву, а она не осталась в долгу – соблазнила Адама... Слова казались просты, действия персонажей естественны, и размышлять не над чем. Но Апостол не мог отделаться от неясного ощущения – кожей чувствовал – есть подвох, заковыка, замурованный наглухо сокровенный смысл. Наверное, впервые в жизни он не сумел с лёту докопаться до сути.

Чем больше читал, тем отчаяннее терял уверенность. Острый ум всегда подсказывал ему выход из ситуации, но сейчас по-предательски бездействовал. Апостол усмехнулся, вспомнив уроки литературы в техникуме. Из обязательной программы он не прочёл ни единого произведения, умудряясь получать высшие оценки, чем приводил Семёна Захаровича в сумеречное расположение духа. Патент простой, как перекладина, вокруг которой Марат моторно накручивал «солнце». Несколько страниц литературной критики перед уроком, и живой ум воспроизводил непрочитанное действие. Марат умел обсуждать героев «Молодой Гвардии» так, словно жил рядом с ними в описываемые Фадеевым времена. Марат с душевным надрывом рассказывал о героях Краснодона. Как не поставить старательному студенту высший бал! Учитывая, что ему благоволит директор. Преподавателю русского языка и литературы Семёну Захаровичу Гроссу приходилось мириться с явным подлогом.

– Что чувствовал Тюленин после казни полиция Фомина? – спрашивал, мягко постукивая пальцами о стол Гросс.

– Он, Семён Захарович, испытывал противоречивые чувства. Очень смешанные, сумбурные, я бы сказал, чувства. Сергей Тюленин одновременно переживал восторг и кураж, подогретые удовлетворением от свершившейся мести. И вместе с тем брезгливость и жажду очищения. Тягу к откровению с другом и одновременно к сохранению своего индивидуального мира, куда нет пути незваному гостю...

– Правда? – иронично вопрошал преподаватель.

– Вне всяких сомнений, – серьёзно подтверждал студент.

Однажды Гросс сорвался:

– Давайте, Муравьёв, договоримся: я перед всей аудиторией обещаю удовлетворить вас пятью баллами, а вы, в свою очередь, меня, чистосердечно раскаявшись, что не читали произведения. Идёт?

– Ни за что, Семён Захарович, роман мне настолько понравился, что я перечитал его множество раз. Как говорится, спрашивайте и убеждайтесь.

Скрип открываемого замка вырвал Апостола из воспоминаний.

– Хан! – обрадовался Апостол старому вору.

– Вижу, напряг тебя искуситель патлатый?

– Терпимо, брат...

– Знаешь, что такое «Вор»? – пылко озадачил Хан.

– Научи, – ответил Апостол, расположенный к бесхитростным речам положенца. В них, в отличие от «Библии» всё ясно, как на войне. Там – недруги, менты, здесь мы – воры.

– Вор не должен быть в упряжке с властями. Церковь – та же власть... Загнали Русь в православие мечами да кровью. Вера скукоживает личность, в кадильном дыму прищепляют покорность! – чётко проговаривал Хан, словно гвозди вгоняя кувалдой в гроб.

Апостол ошалел от бешеного напора и неуголимого отращения.

– Знаешь, какое самое распространённое слово в церкви? – чуть раскосые глаза авторитета хищно вспыхнули. – Раб! Раб Божий! – Хан грязно выматерился, чего никогда не позволял себе в присутствии заключённых, – хочу из тебя вора сделать, свободного в мире человека. Вора не треножат узы, любые – семейные, общественные, армия, закон, государство. Его свободу не ограничивает богатство, роскошь, комфорт... Мы, крадуны, живём сами по себе, гордо существуем с нашего общака. Часто – в заботе о бродягах, что сами по всяким обстоятельствам, не могут позаботиться о себе.

– Хан, агитируешь что ли, меня? Я не чужой...

– Ты мужик с понятиями, это так. Я мог бы враз окоротить патлатого, но за него просил Лютый, и неважно, что через тебя, а не напрямую. Мы, воры, братаны равные, и стараемся не подрывать авторитета друг друга. Хочу, чтобы ты выбрал сам, и выбор твой уважаю. Патлатый Серафим страшный человек, будь внимателен.

– Хан, – Апостол окликнул вора, когда тот уже стоял у

двери.

– Да, братан...

– Разве воры были когда-нибудь против веры?

– Вера – обыкновенная пустышка. За ней всегда деньги и власть. Буду честен с тобой до конца. Нам нужны такие люди, как ты. «Им» тоже нужны. Твой выбор. Здесь как на войне: либо мы, либо они. Я вижу тебя насквозь, можешь поверить старому бродяге. Вор нынче мельчает. Ты, Апостол, находка для воровского сообщества. Авторитет может провести всю жизнь в академии, перелопатить кучи человеческого материала, но не встретить настоящего «вора». Мне подфартит, если удастся пропихнуть тебя в нашу масть, тогда скажу, что жизнь прожита не зря.

– Всё же, почему я? – Апостол не чувствовал себя польщённым, с детства презирая лесть в любых проявлениях, сейчас же ощущал любопытство, задумавшись о большой воровской политике.

– Да так... Похоже, ты – новый виток эволюции, как раньше говорили, существо следующей формации. У тебя зубы мудрости есть?

– Нет, – Апостол удивился неожиданному вопросу, Хан теперь не казался понятным и простым.

– Вот видишь, ни хвоста, чтобы вилять, ни зуба мудрости, – а они, если помнишь, атавизмы, – лицо Хана оставалось непроницаемым, – такие, как ты, всегда идут до конца, ежели вор, то Авторитет, ежели верующий, то Митрополит.

Положенец ошибался. Он не догадывался, как мечется душа подопечного в поиске надёжного «якоря», не находя пристанища среди житейских бурь.

Оставшись наедине, Апостол долго размышлял над словами Хана, но к твёрдому решению не пришёл. Сумятица вокруг его персоны казалась излишней. Наскоки батюшки сперва смешили, после стали раздражать, и всё же не казались вербовкой. Так в веру не обращают. Факт в том, что он, Апостол, тянулся к воровской жизни, а остальное – шелуха.

Вызванная на поединок тень принимала реальные формы. Она уже не боялась, почувствовав слабину. Напрасно! Сегодня, как никогда, он знал, чего хотел от жизни. Мысленный образ меньше всего походил на отца Серафима, но по сути это был он. Превосходящий по силе соперник отступал под нечеловеческим натиском. Четыре сотни ударов за три минуты. Собственный, установленный много лет назад, рекорд, оказался побит ночью в камере тюремного изолятора.

Глава 4. Ступени. Юношеские забавы

Пацаны, случись поблизости кто-нибудь из преподавателей, привычно чибонят окурки. Но паренёк, на добрую сажень выше прочих, безрассудно смел. В присутствии словесника Семёна Захаровича Гросса процеживает струю дыма сквозь четыре дымовых кольца. Порыв ветра рассеивает этюд, и Марат матерится так грязно, что Семён Захарович, вознамерившись пресечь беспорядок, поспешно ретируется под крышу заведения. В безопасности дожидается наглеца, вынашивая план возмездия.

– Сегодня к доске... – реет над головами студентов карающий перст педагога...

Молодёжь прячет глаза.

– Сознавайтесь, тунеядцы, кто читал «Молодую гвардию»! Шаг вперёд! – громогласно глумится Марат.

Аудитория расслабляется хохотом: «Молодую гвардию» не читал никто.

– Муравьев! Мать твою... несчастную! – вне себя от гнева, но дипломатично сокрушается Гросс. – Проследуй к доске! Живо!

Капкан взведён, жертва готова к закланию, и Марат декламирует на ходу:

– Молодым везде у нас дорога... Старикам везде у нас почет.

Семён Захарович утешается мыслью «Кабы не здесь, быть щенку битым». Кто не знает, как опасно распускать руки перед сборищем отпетых лоботрясов. Непременно наступчат. Учитывается и другое: не пострадает ли вместо шалопая сам преподаватель.

– А ты-то, ты-то ч-ч-читал «Молодую Гвардию»? – интересуется Гросс.

– Вне сомнений, читал! – бесстрастно ликует Марат.

Семён Захарович дотошный, опытный, чует подвох, только на жареном поймать не может. Студенты, как комиссия ГорОНО, чутки к беспределу. Преподаватель уверен: бездельник просматривал лишь критику. Но доказательств нет, во спасение бросает взгляд на часы. И предлагает наглецу высший бал – в обмен на признание. Убийственный промах! Аудитория ехидно хихикает. Урок загублен и заодно искалечен авторитет. Чтобы хоть как-то сохранить лицо, Семён Захарович запускает хитрый крючок:

– Так вот, Муравьёв, пораскинь мозгами. Если они есть. Чем особенно обеспокоена Уля Громова в оккупации?

Звенит избавительный звонок, но в глазах Марата бравада. Собирается отвечать.

– Фашисты хотят добраться до наших душ – вот что больше всего тревожит комсомолку Громову.

– Э, не-е-е-т, шалишь! – кричит Семён Захарович, но

вдруг, сникнув, унизительно клянчит: – Ну признайся, оболтус, ты же не читал «Молодую гвардию»...

Марат Муравьёв-Апостол непреклонен и добывает Гросса фразой, ставшей в Одесском железнодорожном техникуме притчей:

– А Улечке всего девятнадцать лет было... Перебили ей враги рёбра и руки, на спине звезду вырезали...

В Одессе звонок делу не помеха. Муравьев бесстрастно покидает класс, за ним остальные.

Как же Семён Захарович ненавидел свою работу! Так, что даже Вуячич не облегчил душевные раны. И словесник, дожидаясь, когда Сонечка Ротшильд покинет класс, закуривает у приоткрытого окна, прислушиваясь к умиротворяющему эфиру. Со двора слышится: «По заявке нашего постоянного радиослушателя Семёна Захаровича Гросса повторяем песню на стихи Роберта Рождественского, музыка Арно Бабаджаняна, исполняет Виктор Вуячич...».

Солидное, как пятизвёздочный армянский коньяк, звание техникума знавало выдающихся людей, но Марат Муравьёв-Апостол, студент с дворянской фамилией и усами наперевес, затмил всех.

Он обладал цветным телевизором, потреблял финский сервелат, запивая баварским пивом, и пользовал лучших девочек. Природу не обманешь. С его появлением задумчивый словесник Гросс, а с ним и флегматичный сопроматчик Терещенко обивали порог директорского кабинета с упрямой

дилеммой: «Решайте! Или он, или я!». Но Олег Олегович Нехай, по прозвищу ООН, бессменный директор техникума, ревниво сохранял статус-кво. Чем-то потрафил администрации наглец с ювелирно прорезанными, а оттого вызывающими чертами лица.

Омрачало идиллию единственное обстоятельство: студент Марат Муравьёв-Апостол умудрялся призывать на свою голову громы и молнии всей Одессы. Правда, всегда выходил из ситуаций с честью. Прожжённые ухаи поначалу столкнулись с ним из-за подружек. Иногда благородно звали на дуэль: «Сегодня... в шесть... в спортзале», порой наваливались сворой. К концу первого семестра, залечив искалеченные носы, вставив протезы вместо выбитых зубов, они бесповоротно признали превосходство Марата. Некоторые заложники поруганной чести тайком, чтобы не услышал жалобу, роптали. К девушкам, сугубой причине драк, Муравьёв относился с брезгливой насмешливостью. И если первенство среди юношей утвердилось, девичьи битвы за расположение красавчика не утихали. Но Марат оставался одиночкой, хотя славился неисчерпаемым магнетизмом: люди, попавшие в его сферу, претерпевали что угодно, лишь бы оказаться рядом.

Внезапно, без прелюдий, после очередной взбучки от ООН, Марат необъяснимо для всех вступил в комсомол. Возможно, причиной послужила гуляющая по стране Всеобщая Шиза. Каждый отмечал юбилей обожаемого Лео-

нида Ильича Брежнева по-своему, без присмотра. Муравьёва-Апостола пробило на комсомол. Студенты оттягивались в засаленных диалогах: «Имя? – Комсомол! Национальность? – Интернационал! Адрес? – Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз!». Прожужжав уши кураторам, заручившись райкомовской поддержкой, Марат решил преподавать урок упадничеству и застою.

На факультете «Организация перевозок и управление» числилось около трёхсот студентов. Немного для задуманного, но начинать нужно с малого. Марат надумал театрализовать захват Одессы большевиками. В восемнадцатом году красные, подняв восстание, отбили город у Центральной рады и Временного правительства. Тютелька в тютельку, как и тогда, столкнулись верхи с низами. Преподаватели не могли учить по-новому, студенты не хотели учиться по-старому – и «потомок декабриста» Муравьёв-Апостол затеял бузу по всем правилам жанра. При студенческой общаге созвал Тревожный Комитет, где в течение недели сотни студентов репетировали чинить отпор преподавательскому произволу. Они не ели и не учились. Но пили повально. Вождь их, Марат Муравьёв-Апостол, пообщался с каждым. Затем, прикинув шило к мылу, назначил десятских и сотских.

Первокурсница Полищук, прежде обделённая мужским вниманием, радушно принимала у себя верхушку Комитета. Её комната из-за временного отсутствия компаньонки, подхватившей тяжелейшую инфлюэнцу, служила Штабом.

Угорелая от скопления возбуждённых мужиков, она безжалостно искромсала на бутерброды месячный запас сала. Дефицитным продуктом, отправляя дочь в город, сопровождала мамаша, заслуженная сельская учительница, пребывавшая в бессрочном разводе и оттого наделённая чарующей прозорливостью. Продукт должен был обеспечить дурынде-дочери достойного жениха. Сама мамаша познала эту премудрость на собственном горьком опыте. Истинные ценители деревенского сала не преминут клюнуть. Надо терпеливо поджидать. Пусть десять, двадцать, сто, насытятся и уйдут, но тот единственный отыщется непременно. Он свяжет неземное кулинарное удовольствие с рукой, его подающей.

Понедельник – день тяжёлый. Входы и выходы Одесского железнодорожного техникума наглухо перекрыты плотными кордонами, проникшими из благолепия Алексеевского сквера. Телефонные линии обесточены. Опасный физрук Петермухер и педагог черчения Кропоткин, вылитый варяг, нейтрализованы в спортзале. Гросс – одиозная личность, ничёмная для революции, но враждующая с вождём, до смерти запуган агрессивной фурией Полищук. Его, обезволенного, в назидание инакомыслящим, приторочили к перилам у парадного входа. Развлекали его старинной паровозной байкой, раз за разом убыстряя её темп до скороговорки:

– Шило, мыло, мотовило, восемь пар...

Шило, мыло, мотовило, восемь пар...

Ту-ту-у-у!

Спрашивали страдальца насмешливо:

– Любо ли?

Сами же и отвечали вместо него:

– Любо! Любо! Дорого!

Намечалось, что требования Тревожного Комитета провозгласит верховный вождь под овации со скандированием полюбившегося «Любо!». Но случилось непредвиденное. Главный бунтарь, к оторопи сотен бойцов в красных тогах, сшитых из праздничных транспарантов пламенной революционеркой Полищук, отсутствовал.

Муравьёва застал дома директор ООН с нарядом милиции. Марат отдыхал сном младенца и, пробудившись, с трудом вспомнил о намеченном захвате власти. Когда его попросили объяснить своё отсутствие на месте событий, он обосновал лаконично:

– Скучно стало до смерти, Олег Олегович...

Директору техникума едва удалось убедить власти не политизировать инцидент, но отнестись к происшествию, как к ребячьей шалости. «Мальцы неловко поохмили. Бывает». Но органы рассвирепели всерьёз. Всеобщий разнос уподобился урагану.

Гросс, решив, что разразятся погромы, слёг с инфарктом. Терещенко по состоянию здоровья заторопился на досрочную пенсию. В преддверии семидесятилетия Великого Октября милостиво разрешили не распускать факультет. Но Марата Олегу Олеговичу отстоять не удалось.

ООН и сам не знал, отчего беззастенчиво благоволил бездельнику. Парнишка воплотил в себе всё, о чём невысокий рыхлый трусоватый Нехай, мечтал с детства. Сила, отвага и красота не были крайними в списке качеств Марата, вызвавшими восторг ООН. Первые места прочно занимали гипертрофированный апломб и растрчиваемая попусту феноменальность. Марату фантастически легко удавалось всё, за что брался – всерьёз или спустя рукава. Как-то в третьем семестре преподаватель сопромата Терещенко отказался допускать Муравьёва к экзаменам, мотивируя постыдную несовместимость соискателя с изучаемым предметом. Беседа директора с нерадивым студентом состоялась в полдень, за день перед злополучным экзаменом.

Марат долго слушал увещевания ООН, а затем легкомысленно заявил:

– Успокойтесь, Олег Олегович, пройду я экзамен. Подчитаю легонечко, выдохну и сдам «сопромуть» на ура.

Директор повеселел. Не было в голосе парня ни намёка на браваду или попытку отстрочить беду. Сугубая констатация факта.

На экзамене Муравьёв добыл высший бал. Терещенко не поверил сам себе. Пришлось держать испытание вторично в пустом классе, имея экзаменатора vis-a-vis. Когда Марат закончил, прослезившийся педагог расцеловал его прилюдно и тоекратно, а директору заявил, что жизнь прожил не зря. На небосводе советского сопромата вспыхнула новая

сверхъяркая звезда. Марат действительно подсел на предмет, с болезненным аппетитом постигая каноны сопротивления материалов. Вскоре он победил на городской студенческой Олимпиаде, но на областную ехать воспротивился. Просто-напросто в один сиреневый весенний день, как высказался сам, охладел к сопромату. Сколько ни впадал в отчаяние Терещенко, как ни увещевал ООН, Муравьев выше трёх плотных баллов в дальнейшем не поднимался.

Юноша обладал загадочным свойством: быстро охладевал к собственным успехам, как обычные люди забывали свои неудачи. Черета срывов способна сломить человека неизбежной угрозой провала, чем бы он ни занимался. Но почему Марата отвращала черета успехов, ООН взять в толк не мог.

Следующим фейерверком абсурда оказался урок Марианны Иосифовны Туник. Кроме истории, она преподавала в техникуме обществоведение. Директора пригласили на показательный урок, где набирала обороты традиционная дуэль между двумя интеллектуалами. Один ратовал за превосходство социалистической экономики, другой – капиталистической. К доске, под восторженный гвалт класса, вышла Танечка Кронштадт, круглая, при несомненных талантах, отличница. ООН не сомневался, что именно ей поручат стать глашатаем социалистического развития. Вторым, под обвальным бойкот зала, восхвалял заведомо проигрышную партию красавчик Муравьев.

Четверть часа понадобилось Марату, чтобы в пух и прах разбить малокровные доводы Танюши Кронштадт. По его утверждениям, социалистическая система закончит самопальной катастрофой, съест и переварит сама себя, подобно желудку без пищи – произойдёт это вскорости, годам к девяностым. Но на этом сюрпризы Марианны Иосифовны Туник не закончились. Вторая, не менее убедительная часть политического прогноза случилась на госэкзаменах, где присутствовали уполномоченные инспекторы не только ГорОНО, но даже из Министерства Образования. На ристалище вышли те же двое, Олег Олегович вспотел от страха: феноменальная победа могла стоить его любимцу Колымы, и та же участь грозила героине Туник.

Результат поверг грустные ожидания. Дуэль повторилась с точностью наоборот: адвокатом социализма на этот раз выступил Муравьёв. Прелестная Танечка Кронштадт с жаром отстаивала преимущества капиталистического пути, чувствовалась многослойная подготовка к победе. Но неприступная крепость Танечки Ротшильд была виртуозно разбита в щепки.

Попытка захвата власти в кампусе железнодорожного техникума, даже при вмешательстве ООН, не могла сойти с рук Муравьеву-Апостолу. Нехай понимал, что лишь отчисление опального студента обернётся спасением его директорского благополучия.

Ко дню железнодорожника поздравить коллектив техни-

кума съехались именитые выпускники во главе с начальником Одесской железнодорожного узла Фоменко. Нехай в преддверии головоломного разговора с Маратом произнёс целомудренный спич:

– От всей души поздравляю коллектив техникума со знаменательным днём. История техникума богата боевыми и трудовыми традициями, неразрывно связана с развитием железнодорожного транспорта страны. Поэтому желаю педагогическому коллективу здоровья, новых сил в воспитании будущих специалистов отрасли. Студентам – вдохновения, настойчивости и успехов в учёбе.

В иные времена затащить Марата на мероприятие было невозможно, но сегодня директор попросил об исключительном одолжении. По окончании торжественной части, когда гостей пригласили в зал на фуршет, Муравьёв-Апостол направился в директорский кабинет, ощущая, что с сегодняшнего дня жизнь потечёт иначе. Знать бы, в какую сторону.

– Ну, когда такое бывало? Приходится игнорировать самого Фоменко в пользу бунтаря Муравьёва. Нонсенс! – жаловался Нехай виновнику неудачи. – Из комсомола тебя выперли, как врага народа. Сверху ждут экзекуции. Ну, куда править? – взялся разруливать ситуацию директор. – Послухай и сделай, как велю. Знаешь ведь, что я к тебе со всею душой... В нашей отрасли продвинуться можно и без образования, варила бы голова. У тебя с этим благополучно, и я помогу. Гляди сюда, Марат Игоревич. Есть такие работы, что в

одиначку выполнить невозможно, нужна надёжная страховка. Труд машиниста, к слову...

Марат, слушавший директора терпеливо, из личной приязни, оживился. ООН между тем продолжал:

– Машинист управляет сложными системами, притом небезопасными. Вполне логично назначить ему помощника, если прикинуть, какую огромную пользу стране приносит железнодорожный транспорт...

Марата мало интересовала экономика в государственном масштабе, но попасть бойцом в локомотивную бригаду и управлять вместе с машинистом поездным составом представлялось заманчивым. Зевая на скучных занятиях, он, бывало, в мечтах управлял подвижной громадой. И вот, складывается, почти наяву. ООН о мечтах Муравьёва не догадывался, и хитрил, чтобы его завлечь:

– Без помощника машинист пустое место, никто...

– Я согласен, – бесцеремонно вставил Марат.

– Что? – осёкся директор. – Неужто вник?

– А то. Пойду помощником, – подтвердил Марат.

Олег Олегович, уже представлявший любимчика арестантом, не ожидал молниеносной победы, и поэтому немедленно прекратил утратившие необходимость уговоры.

– Собирайся, Апостол, в Элисту. Там у меня свой человек начальником отдела кадров узла. Кореш, кое-чем мне обязан...

– Где это – Элиста? – поинтересовался Марат.

– Калмыкия, – успокоил его ООН, – обещаю: год-два-три, и пойдёшь в машинисты.

– Ладно, Олег Олегович. Дальше Калмыкии не сошлют.

– Верно, студент, – директор искренне считал, что спасает парня, – вообще-то, учти, помощником может стать выпускник железнодорожного техникума, но непременно с направлением на предварительную практику. Не иначе. Для тебя сделают исключение, к работе приступишь сразу, обучат в рабочем порядке.

Единственным человеком, не оставшимся в накладе после истории с захватом власти, оказалась пышнотелая простушка Полищук. Её чувственное, долго не знавшее мужской близости тело, вторую неделю сладострастно изгибалось под сильными руками бывшего сотника Тревожного Комитета, проворного татарина из «третьей столицы России», тысячелетней Казани. Сала слуга ислама не переносил на дух, но крупных женщин уважал безмерно.

В восьмидесятые годы заметно ослабло действие механизмов, влияющих на поведение человека независимо от условий его жизни. Старые утратили своё значение, новые ещё не состоялись. Роль компенсаторов долгое время выполняла вера, часто управляющая трезвыми убеждениями, но вынесенная за рамки реальной жизни. Хитрое противоречие позволяло свободнее управлять людьми, преподнося средство управления, религию, как дурман. Даже вольнодумцам, вроде Марата Муравьёва-Апостола, если находили для себя ку-

миров. Но в моменты острых приступов самолюбования они теряли самоконтроль и увлекали за собой прочих. Вовсе не сродни простейшему существу в этой категории, домашнему эгоисту, пугливому вне дома. Общественный эгоист превосходнее! Он искренне полагает, что все поголовно обязаны становиться столь же сильными, умными и заметными, как он. Где Ницше? Тут уж каждый сам за себя.

Поколение за поколением верили в идеал, но идеал оказался размыт. Маячил где-то у горизонта. Будущее жило сегодняшним днём, или даже вчерашним, где люди, соблюдая очередь, двигались неизменно гуськом. Шаг влево, шаг вправо, и ты уже не звено в общей цепи. Ты лишний, никто. Несомненно, в жизни довели общественные авторитеты, в те годы, например, комсомола и партии, но и они постепенно истрепались до критических ошмётков. Отдельные личности, такие как Олег Олегович Нехай, пока ещё умели сдерживать народ личной содержательностью. Но социальное полотно страны всё чаще вышивалось бесцветными нитями. Созидание обретало черты имитации.

Принадлежи Марат к местной элите, пусть даже местечкового уровня, не пришлось добираться через всю страну в какую-то несчастную Элисту. Вместо того, чтобы заслуженно подняться над квашниной масс, придётся тешить самолюбие в неизвестности мизерными и потому совершенно напрасными успехами.

Марат поехал в Элисту. Начальник отдела кадров изучал

рекомендательное письмо осторожней, чем сапёр роковую гранату. Прочитав, неясно хмыкнул и спросил с ревнивой осведомлённостью:

– Уж не потомок ли вы участнику Черниговского восстания, декабристу Муравьёву-Апостолу?

Марат, потрогав усы, ответил с ужасающим достоинством:

– Именно так. Мне всегда напоминают об этом. Что скрывать: потомок.

– Хе-хе, предка казнили, а вас, значит, в ссылку. Эх, молодой человек, всё обязательно возвращается на круги своя, – задумчиво проговорил он, глядя мимо, а затем серьёзно, в глаза, добавил: – Пойдёшь помощником машиниста. Оклад сто двадцать целковых плюс премиальные. Сделаем из тебя, как просит Олег, машиниста высшей квалификации. Кстати, мы вместе институт заканчивали, но, как говорится, это было давно и неправда. Поработаешь года два-три помагалой, потом направим в дорожную техшколу. Оттуда вернёшься машинистом. Подходит? Желаю удачи, потомок.

Марат осел в пыльном калмыцком городишке Устой. Трёхэтажное общежитие угрюмостью напоминало давно снесённую одесскую трущобу, цельно сохранённую в памяти. Помойка, вонь, хлорка, блохи. Кровать ножками в баночках с керосином. Бессмертный проказливый клоповник. Кому экзотика, а кому Родина.

Машинисту Клавдию Антоновичу Пересунько физионо-

мия подопечного показалась знакомой. Долго всматривался, словно не в лицо, а в фотонегатив на свет. Пока лента в бачке с «проявителем», ничего не видно. Но через время раствор убирают и заливают воду для промывки. Процесс нудный, но в Калмыкии никто никуда не спешит. Затем вместо воды бачок наполняют «закрепителем», и снова ожидание. Как знать, удастся ли? Красный фонарь не предвещает удачи. Наконец, плёнка подсушена. Финал близок. Свет на проекторе включается, изображение с негатива переходит в позитив на бумаге. «Эй, пескарёк, майку-то накинь, чего мослами торгуешь». Глаза машиниста расширились, но тотчас сузились, как природные у калмыка. Перед ним стоял тот самый Геркулес, что когда-то пнул сына на асфальт у Гамбринуса. И сам он, подхватив сынишку на руки, сбежал от шестилетнего наглеца. Позорище, пора платить по счетам.

– Слухай, хлопчик, я-то тебя в Одессе встречал.

Сначала Марат не удивился. Мало ли, мир тесен, да и Одесса – город компактный.

– Я тоже коренной одессит, – признался Клавдий Антонович, – и на родной железке крупным начальником был. А ты, голубь – тот малец, что у Гамбринуса проказничал.

Пришло время поразиться. Повстречать в такой глуши старинного оппонента... Марат стушевался, но не потому, что оказался узнан. В голосе машиниста услышалась боль, не вязавшаяся с воспоминанием о злосчастном пинке.

– До сих пор не терплю поучений. Насчёт вашего сына...

– Стоп. Нет у меня сына, – бросился в глаза безнадёжный жест.

– Как, нет? В каком смысле нет?

– Во всех смыслах. Погиб мальчик...

– Простите... Не знал... Соболезную...

– Да-да, принимаю... Соболезнование... Сколько их было... Как не помнить. Мариша моя на секунду упустила из виду коляску. Нелепый уклон. Зачем? Коляска покатила по платформе. Перевернулась на рельсы. Сашка, сын мой – когда ты напугал, полгода заикался, по врачам всё водили, пока киевский логопед не вылечил. Он у меня мужик был, за коляской первым прыгнул. Мариша уже на его крик обернулась. Соскочила и она с платформы. Подняла дочурку на руки. Сашка собрал со шпал вещи, – Марат слушал, каменея, – жена улыбается снизу – всё в порядке, не кипятись. А я... стою, пальцем пошевелить не могу. Поезд изошёл воем, проскочив в метре... Из-за шума они не заметили встречного состава, а я молчал и смотрел, как мчит на соседнем пути товарняк и пожирает мою семью.

– Они... все?

– На место выехала следственно-оперативная группа, бригады скорой помощи... Жена и дочь сразу... Малыш ещё жил. По словам врачей, получил травмы, не совместимые с жизнью... Никому, мне уж давно, не нужное следствие. «Одесская транспортная прокуратура проводит проверку по уголовному производству: нарушение правил безопасности

движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее смерть человека». Так это звучало. Машинист, слава Богу, оказался не виноват, состав вообще не должен был останавливаться на станции. На суде он показал, что, увидев стоявших в опасной близости людей, стал подавать предупреждающие сигналы, экстренно затормозил, но сильный поток воздуха затянул их под колёса. А потом... знаешь, что написали потом в «Знамени коммунизма»?

Марат будто проглотил язык. Клавдий Антонович тоже молчал. Будто минуту назад было, но высказать не получалось: запрыгали губы.

– Что?

– До сих пор... Выжигает... Родители, дескать, не досмотрели. Под поездом погибли мать и двое детей. Виной любопытство малыша и родительская беспечность... А? Железнодорожный путь, многотонный поезд, семья на рельсах... Нет семьи. И я не мог остаться, уволился, сбежал в Калмыкию. По ночам снились пути. Не жена, не дети – пути... рельсы... рельсы... рельсы... И я понял... Моё место в локомотиве... До сих пор смотрю на них, они на меня...

Марат так и не уразумел, что имел в виду машинист, то ли пути и рельсы, то ли семью, но благоразумно решил не уточнять. У Клавдия Антоновича явно душевный разлад, а с ним работать в упряжке. Чем он взял медицинскую комиссию, оставалось загадкой.

Потекли будни, неповоротливые на околице страны.

Сперва машинист принял помощника за отпрыска влиятельного районного чинуши. Хитро щурясь, неторопливо задирал обидным словом. Но в поезде, как и в самолёте, на ходу не сойти.

– Продвинуться на железке можно в двух случаях: лапа мохнатая или голова на месте. Человек бесчестный, – вещал Пересунько, поднимая дрожащий в назидании перст – изначально не пойдёт машинистом, а двинет на блатняк в контору. Туда без связей не суйся – только если имеешь таланты, иначе от ворот поворот. А как машинисту быть, чтобы заметили? Я понимаю, инженер может образованностью взять, а мы, извозчики – как слесаря в депо. Без них никуда. Зато помалкивай, да конопать. Люди думают, на железке кайфово. Романтика, зарплата, льготы. Фигня. Работа машиниста – ад на колёсах.

Со временем Пересунько перестал ворчать. Может быть, надоело. Или присмотрелся к подручному. У Клавдия Антоновича выходило, что Марату с его пламенным ликом следовало податься в космонавты. Друзья степей калмыки и вольные сайгаки Марата не занимали. Апостола до дрожи возбуждала скорость. Ему, доподлинно знающему устройство и принцип движения поезда, казалось невероятным, как мановением руки можно стронуть с места многотонную махину. Но статистика набиралась поучительная: пока помощник присутствовал в рейсе, ничего не ломалось. То есть, совсем ничего. Старинная, ещё довоенная система, словно бо-

ясь разочаровать, замыкалась на парне с васильковыми глазами. Стоило ему покинуть локомотив – Пересунько нарочно присматривался – складывалась скучная картина: затасканный «козлик» присланной срочно техпомощи тосковал среди перегона у замершего состава.

В действительности на железке легче слесарям, чем прочим сословиям. Спешить некуда, экстренная ситуация, если случается, то в образе начальника депо, заложника обстоятельств. Но в любом случае неисправности устраняются в спокойной обстановке и непременно в течение нужного времени. Аврал категорически не допустим. Машинисту же и его помощнику на выявление неисправности отводится в лучшем случае десять минут, именно поэтому ремесло локомотивной бригады – вести состав, а не мучиться ремонтом.

В проливень бесновался дождь. Стегал стёкла вспухшими вожжами – дворники не успевали расталкивать воду. Клавдия Антоновича настигало прошлое. Позволив помощнику «порулить», чтобы не заснуть, затянул «душевную железнодорожную»:

– А поезд всю ночь несётся,
О чём-то поют гудки,
И поезда сердце бьётся
В твоей, машинист, груди...

Как раз, когда Марат, убаюканный припевом, потёр для трезвости глаза, на связь вышел диспетчер. Потребовал от-

ветить. Сбился и несколько раз подряд, словно забывшись, переспросил: «Как слышите?». Пересунько не пошевелился. Апостол почувствовал неладное. В голову бросилась кровь, громом разразилось сердцебиение. Схватился, толкнул под локоть Клавдия Антоновича, рывкнул на диспетчера в микрофон так, что тот сразу пришёл в себя. Эти отбитые у времени секунды стали переломными.

Опасность опасности рознь. У надвигавшейся беды голодная пасть и острые зубы. Диспетчера как прорвало – изошёл подробностями, будто на рапорте начальнику дороги. Навстречу по колее с их составом мчался неуправляемый тепловоз. Клавдия Антоновича «понесло». Апостол мог поклясться, что разглядел в его глазах погибающих детей и жену. Марат постиг главное: время, его нет! Надо действовать, не раздумывая, не оглядываясь на машиниста.

Столкновение... Неизбежность... Единственный путь – что туда, что оттуда – навстречу! Решение всплыло в голове, смыв лишние мысли и сомнения. Всё сжалось в мгновение. Остановив поезд, Марат с Пересунько бросились расцеплять вагоны. Работали на ощупь, сбивая в кровь пальцы. Небо выстреливало молнии, гром и плотные дождевые струи. Бесконечность! Четырнадцать вагонов, пятьсот пассажиров... Расцепив вагоны, ринулись обратно, к локомотиву. Пересунько, едва различавший в ночи фигуру помощника, мчался за ним. Он ещё не постиг манёвров Апостола, слишком порывистых, скорее молниеносных, но, по воле случая

оказавшись ведомым, старался выполнить команды быстро и точно. Ведь не всегда в жизни роли распределяются, как задумано изначально.

Лишь когда Апостол пустил машину навстречу неуправляемому тепловозу, Клавдий Антонович понял, что задумал помощник. Понял и поразился небывалой свободе ума и отваге сердца: Марат жертвовал собой, чтобы спасти пассажиров. Он, как истинный Геркулес, собирался телом преградить путь разогнавшейся машине, не допустить столкновения с пассажирскими вагонами.

Но он недооценил Апостола. Они успели откатиться на пару километров и остановиться, когда показался мчащийся на предельной скорости тепловоз. Апостол, сбросив тормозной башмак, привёл локомотив в движение в обратном направлении, набирая скорость для смягчения удара. За секунды до столкновения Пересунько рванул помощника за рубашку, невероятным усилием утащив вглубь. Слившиеся бие-ния двух сердец, единые плоть и кровь, настигший неуправляемый болид... Звуков словно не было, или их уволокла вместе со стеклом ударная волна. Рваные клочья металла, лишь затем вой и скрежет, словно вырвавшиеся из преисподней... Само время, оглушённое многотонной мощью, остановилось взглянуть, стоило ли идти дальше...

Машинист и помощник очнулись. Ад? Рай? Ни то, ни это, значит, живы. Звуки, краски, ощущения вернулись в мир, моторшно заявляя о присутствии. Первые мысли оказались

не о чудесном спасении – о счастливой отсрочке. Как до сих пор не вспыхнуло, не рвануло! Кинулись выключать батареи, затем – в маневровый тепловоз. Не раздумывая, не замечая боль и кровь. Марат выдернул из бедра осколок стекла, мешавший двигаться и, зажав рану, полез в кабину. Внутри чудом сохранившиеся приборы, предельные параметры и... пусто...

Беда прошла стороной. Даже не обдав смертельной одышкой пассажиров. Пассажиры, как всегда, возмущались непредвиденной остановкой и не подозревали о разбойничавшей, но усмирённой катастрофе.

В ожидании спасательных бригад машинист с помощником осматривали развороченную кабину своего локомотива. Она, словно пропущенная сквозь мясорубку, являла собой потрясающее зрелище. Клавдия Антоновича передёрнуло: пульт управления вывернут наизнанку верхняя часть корпуса напрочь смещена, висят, как умирающие рыбины во вздёрнутом неводе, обрывки жести и стального литья.

– Всё... Кончено... Ремонту не подлежит, – сказал Пересунько и потерял сознание.

Марат последовал за ним.

Героями они себя не сочли – молча и единодушно. Сумбурная речь начальника станции Элиста усилила парадную надсаду зала:

– Заветная профессия – машинист! Честное дело! Но! Какой-то мерзавец, проникнув в маневровый локомотив на от-

стое, запустил дизель, включил тягу и смылся! Зачем? Не знаю, только мы вычислим негодяя! А-а-а?! Как это? Вдребезги маршевый! Вдребезги маневровый! Счастье, что обошлось без жертв! Говорю: отважные действия локомотивной бригады! Вот они герои – машинист Клавдий Антонович Пересунько и помощник Марат Игоревич Муравьёв-Апостол. Это они предотвратили страшные последствия! Спасли сотни пассажиров! Если человек переживает за порученное дело, подготовлен к любой беде, обязательно будет успех. Помощник машиниста, найдя верное решение, заслуживает и человеческой благодарности и поощрения по службе. За предотвращение крушения поезда, спасение жизней пассажиров и проявленное мужество, Марат Игоревич награждается знаком «Почётный железнодорожник», премией в шестьсот рублей и обмундированием...

Зал облегчительно выдохнул густые аплодисменты. Откровеннее всех торжествовал порывистый, как тревожные будни, калмык в железнодорожной форме довоенного образца. В годы войны старик был машинистом. С ним на паровозе кочегарил сын. Парня убило в первом же авианалёте. Сам машинист, получив ранения, остался на посту. Эшелон с ранеными удалось вывезти на безопасный разъезд.

Железнодорожное движение подчинено правилам, регламентирующим действия железнодорожника при всяких обстоятельствах. Инструкции указывают, как форсировать котёл, что делать с безбилетным пассажиром, каким образом

перевозить клетки с тиграми. Но ни одна инструкция не сообщает, что должна делать бригада во вражеском окружении. Правительство высоко оценило героизм людей, обслуживавших санитарный состав. Поседевшего с того дня калмыка отметили знаком «Почётный железнодорожник» и правом носить форменное обмундирование после завершения работы на транспорте.

– Пусть тебе, малый, – старик обнял Марата, – быть генерал-директором путей сообщения, не меньше! Живи без горя, сынок! Счастья тебе и твоим близким!

– Спасибо, отец, за благословение, – Марат в этот день был отчаянно вежлив.

В сравнении с Апостолом старик имел два преимущества. Первое – сам по себе довоенный знак «Почётного железнодорожника», выполненный из серебра. Накладные же части: паровоз, знамя, ленточка, колосья, звёздочка – вообще золотые. Второе – внучка, державшая деда под локоть пугливо, словно, её в любой момент могли умыкнуть. Лицо девушки оттенял цветистый платок. Марат попытался улизнуть от раздухарённого ветерана, но заметил, что осторожная, как сайгак, внучка, плотнее прижалась к деду. Платок, завязанный под шею, сполз на плечи, и потомок декабриста утонул в сиянии чёрных глаз.

Взгляд юной калмычки заставил забыть обо всём. Чужая, непередаваемая словесно красота, беззаветно манила. Узкие глаза, плоский нос, упрямый лоб по отдельности и прибли-

зительно не напоминали идеал женской красоты Апостола. Но вкупе всё перемешивалось, и в сердце поражённый парень видел не лицо восточной девы, а гармоничное волнение красок, сложившихся в живой, не знающий преграды взгляд. В довершение волшебство обрамлялось семью шаловливыми косицами.

Когда к Марату вернулась речь, девушки и след простыл. Её орденосного предка спрашивать не полагалось. Старик смекнул, что русский сорванец интересуется внучкой, и предпринял превентивную защиту. В ответ лаконично улыбался, напоминая кивающего китайского болванчика.

Бригаду пересадили на другую машину. Но, к удивлению Пересунько, присутствие или отсутствие помощника резко влияло на скорость профилактических работ в депо. Ремонт шёл как по маслу, если Марат находился рядом, и замедлялся, как только он отходил подальше. К вечеру профилактика завершилась, и можно бы отправляться по домам. Но неожиданно, как иногда бывает, подвернулась халтура. Железка, как живое сердце, работает денно и нощно.

Строители уговорили начальника станции затолкать цементовоз на строящийся комбинат. Пересунько и Апостол как раз отогнали локомотив из депо и согласились помочь. Сделав работу, могли возвращаться на отстой, но помощника машиниста привлекла тягучая степная мелодия, доносившаяся из села.

Марат, пребывавший в блудливой тоске, захотел посмот-

реть. И пеши отправился на звук. Миновал указатель «Станция Артезиан», привокзалье, магазин, железнодорожный клуб. Картинка повеселила. А как же, единственный сельский «небоскрёб». Обошёл, оставаясь в тени. Рядом гремела свадьба. На пустыре, заросшем амброзией, виднелась кибитка. Широко поднятый полог, внутри по разные стороны мужчины и женщины. В почётной глубине старцы, преисполненные достоинства. Девушки разносили «курное», наполненные табаком чаши. Подавали и чай. Юношам доверили араку и мясо. Из тесноты кибитки с паром из пиал уносило праздничный гомон.

Но вскоре суета улеглась. В тишине и непререкаемости пошевелился седой аксакал, пыхнул трубкой, поправил колпак с праздничной лентой и сказал, уважив городских гостей, по-русски:

– Пусть молодые поставят свою кибитку на возвышенности, пусть укрепят привязь для скота на травянистом месте, пусть народят детей и вместе живут в долине без войны и бедствий.

Апостол узнал старца, ветерана-железнодорожника. Всмотрелся. Там, на женской половине его внучка. В бархатном терлеге в талию она казалась восточной красавицей, воскуривавшей фимиам. Затыжки короткие, лёгкие, без дыма. Может, пуста чаша, нет в ней травки, и девушка кейфует ради обычая. Апостол не терпел курящих дам, но курительную трубку, национальный наряд и саму калмычку окружал

таинственный ореол.

Докурив, она мило отряхнула пепел. Привычно дунула в мундштук. Заметно: не в новинку. Аккуратно уложила кисет в кожаную суму. Потянулась к домбре. Тронуть струны не успела. Старуха, наклонившись к ней, пошептала что-то на ухо. Девушка подорвалась, метнулась к дому, где затаился в тени Марат. И с разбегу угодила в объятия, узнала, но не удивилась, будто того и ждала, и они задохнулись в поцелуе.

С тех пор Апостол стал наведываться в Артезиан. Со времени аварии Пересунько души не чаял в помощнике, и всякий раз предупреждал парня о крутых местных нравах. Апостол отшучивался. Внучку аксакала звали Галима. Имя вызывало у Марата отчуждение, но девушка легко согласилась на Галину. Встречались, где получалось. Свидание у местной больницы вышло неудачным. Трое братьев Галимы, приземистые и упрямые, взвешивали в руках дубинки. Подогретые справедливым гневом, клятвенно распыляли угрозы: «Оставь, мангас, сестру в покое, не то зарежем, как глупого барашка!».

Увидев любимую снова, Марат задумался. Личико Галимы покрывали синцы, руку – гипсовая повязка.

Вернувшись со свидания, Апостол посвятил Пересунько в безумный план. Надо увезти избранницу подальше от родинных мест. Чего проще. Какие там сложности – Клавдий Антонович загонит тепловоз в тупик у села и станет ждать Апостола с беглянкой. Клавдий Антонович благоразумно отка-

зался, полагая последствия несоизмеримыми с приключением, но неожиданно, разом обломав сомнения, решился. Пойти на преступление ради этого пацана из прошлого? Но как не помочь славному парню в передрыге? Перевесил простой довод: то, чего не мог сделать он, умудрённый опытом Пересунько, легко далось юному сорвиголове. Будь он, Клавдий Антонович, порасторопней, наверняка спас бы семью, как спас Апостол пять сотен жизней. Единственное противостояло сомнение – неординарные люди любят вовлекать окружающих в свои приключения.

Локомотив налегке, без эшелона, подогнали в тупик за станцией. Вот он – любуйся, если хочешь – Артезиан, населённый вернувшимися из сталинской ссылки калмыками. Вокруг степь да степь. Не спрятаться, лишь терновый кустарник мог намекнуть на призрачность удачи. Времени в запасе нет. Марат ушёл, значит, через час, полтора, придётся поспешить обратно, иначе скорый поезд «Кизляр-Астрахань» нарушит расписание. Тогда позорное увольнение и верные суд да тюрьма.

Марату пришлось поволновался – Галима всё не шла. В свете ущербной подъеденной облаком луны едва различались стрелки часов. Третий час ночи, гости никак не угомонятся. Везде свадьба идёт круче. Как? По правилам! Собрались, напились, подрались? Помирились, набрались, свалились! Здесь – другие привычки. Галима рассказывала Марату, что хюрм, калмыцкая свадьба, состоит из трёх церемо-

ний. Первая – приезд жениха в деревню невесты. Толпа веселится и наедается впрок, на год вперёд. Притом загадки друг другу загадывают, соревнуются, кто больше сказок расскажет. Вторая церемония – второй визит в деревню невесты. Тот же расклад с подарками, застольем и загадками. И опять до рассвета. Третья церемония – увоз невесты. Казалось, в чём премудрость? Сгребай невесту да вези в дом, но нет, бал до первых петухов. И самое отвратительное – поутру виден узор на ладони, но не смей пропустить, когда и как увезли невесту. Засмеют ледащего.

Сегодня – третья ритуальная ночь. Выбора не оставалось. Братья Галимы наблюдательны, но не стронутся с места до окончания свадебного ритуала. Лишь только хотон успокоится, уснёт после угарной ночи, они спрячут сестру так, что и собаки след не возьмут.

Неправильные звуки струн царапали душу. Прожаренный суховеем воздух щемил чувством неразделённой тоски. Любовь? Марат не был уверен, знает ли все её оттенки. Добиться Галимы всецело – скорее болезненная потребность доказать, что окружающий мир, включая полюбившуюся девушку, принадлежит его капризам. Но больше весило самолюбие: решение принято, отступить он не станет, даже если придётся вступить в единоборство с толстым калмыцким богом Буддой.

Что именно послужило толчком к сомнительному решению, Марат уточнить затруднялся, хотя перечислить вари-

анты сумел бы легко. Экзотическая внешность избранницы, её обожающий взгляд, умноженные жалостью к ней, избитой собственными братьями? Собственно, всё вместе и ещё что-то, о чём Апостол мог признаться лишь самому себе.

Галиму в это же время одолевали думы о былом и несбывшемся. Она курила подряд третью трубку, не замечая, как сладкий привкус табака с каждой затяжкой обжигает небо горечью. Мысль о побеге не казалась дикой. Калмычки, хотя и находились во всецелом подчинении у мужчин, в отличие от женщин других восточных народов, имели человеческое, не рабское обличие, и пользовались умеренной долей свободы и самостоятельности. Стечение побега со свадьбой родственницы больно ранили неискущённую девичью душу. В её среде похищения невест, резко осуждаемые в народе, происходили крайне редко, имея при этом сугубо обрядовую, ритуальную окраску. Обычно в таких случаях всё устраивалось само собою: прощалось и забывалось. Но её побег с иноверцем мог расцениваться если не воровством, то несомненным покушением на завет предков. Этот побег с русским никогда не простят!

В этот час Галима особенно остро чувствовала, что разрыв пуповины, связывающей её с родным домом, окажется кровавым, если не смертельным. Злое предчувствие отравляло предстоящее слияние с любимым. Не склониться теперь трижды перед солнцем, дающим тепло, свет и жизнь. Не проститься с родными и незаменимыми отцом, матерью,

братьями. Не поклониться очагу и предкам мужа. Не бросить кусочки сала и кизяка в огонь, переступив порог нового дома. Не изменят родители мужа имени Галима, не расплетут девичью косу, не разделят на две половины, заплетая в две женские, уложенные в роскошные бархатные шиверлиги.

Галима в последний раз вздохнула горестно и порывисто встала. Пора! Пора покидать родной дом. Не гордой походкой невесты, но невольницы, скрытно, под покровом ночи. Огляделась. Свадьба в разгаре. Народ ел, пил и плясал, словно напоследок. Галима метнулась к комнате, где хранилась заранее уложенная котомка с вещами и девичьими украшениями, но спохватилась, заметив стайку девчонок, ещё не вошедших в возраст. Глазастые, любопытные, непременно запомнят и доложат. Затем неспешно, делая вид, что прогуливается, покинула дом, оставив неприкасаемым нехитрое приданное. Она не заметила теней, скользнувших вслед. Проучить русского наглеца подтягивалась многочисленная родня Галимы – братья родные, двоюродные и даже отдалённых степеней родства.

Марат ждал в тени двухэтажного кирпичного здания, того же, что послужило укрытием при первом свидании с Галимой. Мимо сновали старухи по своим насущным старушечьим делам – как его до сих пор не заметили, оставалось загадкой. Хотон бурлил, завершался третий день свадьбы.

Когда работаешь в грузовом движении, половина ночей – твоя. Ходить на работу надо уметь и к часу ночи, и к трём,

и к пяти. К подобному распорядку следует готовиться загодя, желательно дома. Садись с восьми вечера до восьми утра и смотришь в одну точку, стараясь не уснуть. Примерно так выглядела работа машиниста. Мало не уснуть, сегодня Клавдию Антоновичу следовало быть особенно внимательным. Пропустить отход Апостола нельзя – дело ответственное, но незаконное, поскольку невеста не достигла совершеннолетия. Упустишь момент – и безоблачное умыкание превратится в кромешную погоню.

На сей раз Пересунько не сплеховал. Влюблённые чинно и неспешно покидали пределы хотона, справедливо полагая, что бегущие люди привлекут внимание. Шли, не оглядываясь, наслаждаясь романтикой бытия. Но машинист из высокой кабины уследил то, что им видеть было не дано. Позади из густых терновых кустов одна за другой появлялись фигуры преследователей. Не докричаться, не предупредить!

И машинист принял единственно верное решение, реабилитировавшись в собственных глазах после конфуза с аварией. Чтобы заставить Марата и Галиму ускорить бегство, следовало самому начать движение. Локомотив издал протяжный гудок и тронулся с места к станции. Марат, поражённый вероломством начальника, оставался бездейственным не более секунды. Столько времени понадобилось ему, чтобы срисовать обстоятельства, и расценить, что локомотиву ни спереди ни сзади ничто не угрожает. Значит, причина другая.

Апостол развернулся. Протяжный визг возвестил об ис-

тинных намерениях гонителей...

Марат не позволил Галиме долго предаваться ужасу, парализовавшему волю. Рванул её за рукав, увлекая вслед удалявшемуся локомотиву. Она едва поспевала. Зависала, будто теряя опору под ногами. Погоня безжалостно приближалась.

Клавдий Антонович дождался, когда расстояние между тепловозом и беглецами сократилось достаточно для завершающего манёвра. Глазомер не подвёл опытного машиниста. Он дал по тормозам, издавшим вой, позволив Марату в несколько прыжков достичь локомотива.

Апостол в одно усилие забросил невесту в кабину и развернулся к преследователям. Пересунько, словно они договорились заранее, снова начал движение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.